Д. Кин

ЯПОНЦЫ ОТКРЫВАЮТ ЕВРОПУ

1720–1830

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Д. Кин

ЯПОНЦЫ ОТКРЫВАЮТ ЕВРОПУ 1720-1830

ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1972

THE JAPANES DISCOVERY OF EUROPE, 1720—1830

Перевод с английского
И. ЛЬВОВОЙ

Ответственный редактор
В. А. АЛЕКСАНДРОВ

Кин Д.

К41 Японцы открывают Европу. Пер. с английского. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1972.

207 стр. (Путешествия по странам Востока).

В книге американского ученого Дональда Кина рассказывается о Японии XVIII и начала XIX в. Автор приводит очень интересный, малоизвестный у нас материал о контактах японцев с европейцами, знакомство их с европейской культурой и отдельными отраслями науки, о влиянии этого знакомства на быт, религию, философию, искусство, на развитие в Японии медицины, астрономии, физики. В отдельной главе автор рассказывает о первых японцах, попавших в Россию и их впечатлениях о нашей стране.

2-8-1

125-72 9(М)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная Япония — настолько значительная индустриальная держава, такой важный участник всех научных и культурных начинаний, что нам подчас бывает трудно представить себе, что всего лишь сто с лишним лет назад эта страна была изолирована от всего мира и не имела почти никакого представления о Западе. Но и в те дни — и даже раньше — небольшая горсточка японцев не щадила трудов, чтобы узнать как можно больше о внешнем мире, чтобы открыть для себя Европу. Когда читаешь работы этих людей или знакомишься с историей их жизни, внезапный выход Японии из обскурантизма прошлого на мировую арену становится гораздо менее загадочным.

Особенно привлекают наше внимание десятка полтора человек, связанных с движением «рангаку» («голландская наука») в XVIII и начале XIX века. Каждого из них можно считать ведущей фигурой этого движения в зависимости от того, под каким углом зрения его рассматривать. Я избрал Хонда Тосиаки (1744—1821). Любая страница его сочинений убедительно свидетельствует, что с его работами Япония вступила в новое время — в эру современной Японии. Их пронизывает неизвестный ранее дух беспокойства, любознательности, жажды нового. Его восхищает открытие нового, он радуется расширению горизонтов. Хонда испытывал своеобразное удовольствие даже в том, чтобы обнаружить, что Япония в конечном итоге не более чем маленький островок в обширном мире. Он объявил японцам, привычно считавшим китайскую цивилизацию самой древней на свете, существующей с незапамятных времен, что культура Египта была намного старше и значительно более высокой. Он понимал, что в мире существует множество замечательных достижений науки, и настаивал, чтобы Япония воспользовалась ими. Хонда, как ему казалось, смотрел на Японию глазами европейца и видел, что многое нуждается в изменении,

видел ужасные пороки в моральном и физическом облике страны. Именно он является родоначальником идеи, что Япония должна стать одной из великих наций мира.

В этой книге я изложил историю распространения и практического применения «западной науки» в Японии с 1720 по 1830 год. Первая дата знаменует начало официального интереса к западным знаниям, вторая — изгнание Зибольда из Японии, т. е. первый акт трагедии, избавиться от которой помогло лишь открытие страны для Запада. Сто с лишним лет, прошедшие между двумя этими датами, были важнейшим периодом в истории Японии, когда мыслящие люди, интеллигенция, протестуя против изоляции своей страны, неутомимо искали знаний, идущих из-за границы. Поразительная энергия и энтузиазм таких людей, как Хонда Тосиаки, обусловили те наглядные перемены, которые слишком часто связывают с прибытием эскадры коммодора Перри.

Я отдаю себе отчет в том, что при описании деятельности голландцев, служивших для японцев в XVIII веке единственным источником информации о Западе, могу показаться излишне резким. Вполне отдаю себе отчет также в том, что купцы любой другой европейской державы, действовавшие на Востоке в те времена, оказались бы столь же непривлекательными. И все же подчас трудно не возмущаться тем, как мало сделали голландские купцы для знакомства европейцев с Японией. Впрочем, на это они могли бы возразить, что именно пример голландцев вдохновил Хонда Тосиаки и многих других прогрессивно мыслящих японцев нарисовать в своем воображении облик будущей новой Японии; за это японский народ перед ними в вечном неоплатном долгу.

Каруидзава
1968

Д. К.

Глава I

ГОЛЛАНДЦЫ В ЯПОНИИ

В конце XVIII века, когда небольшая группа японцев ценой неимоверных усилий стала серьезно заниматься изучением цивилизации Запада, центром их интересов был маленький островок Дэсима в гавани Нагасаки. Там, в довольно невзрачных зданиях торговой фактории, проживало десятка полтора голландцев — единственных европейцев, которым разрешался доступ на Японские острова.

Япония не всегда была так изолирована от Запада. На протяжении почти ста лет, прошедших со времени открытия Японии португальцами в 1542 году и до их изгнания в 1639 году, японцам часто представлялся случай познакомиться с обычаями Запада, а некоторые из них даже совершили путешествие в Америку и Европу. Правительство отдавало себе отчет в преимуществах торговли с иноземцами, однако неуклонно растущая угроза христианства (завезенного в Японию уже в 1549 году Франциском Ксавье) привела к изданию ряда законов, завершившихся полным изгнанием всех европейцев, за исключением голландцев.

Правителям Японии внушали такой страх не богословские аспекты христианства (точнее говоря, католицизма), ими руководило опасение, что принятие японцами христианства может привести к политической неблагонадежности, что новообращенные христиане будут способствовать вторжению какой-либо европейской державы на Японские острова. Пример Филиппин, куда испанские завоеватели вторглись буквально по пятам первых миссионеров, служил предостережением для япон-

цев; раскрытие впоследствии воображаемых заговоров, угрожающих независимости Японии, привело к изгнанию сперва испанцев, а затем и португальцев. Что касается других стран, торговавших с Японией, то англичане ушли сами, так как сочли эту торговлю невыгодной. Голландцы, наделенные, быть может, бо́льшими коммерческими талантами, остались.

Хотя японское правительство твердо решило искоренить всякий след христианства в пределах своих владений, оно тем не менее располагало столь же твердыми доказательствами безвредности голландского варианта этой религии. В 1637—1638 годах, когда десятки тысяч японских христиан сошлись на полуострове Симабара в последней схватке с правительственными войсками, голландцы услужливо предоставили правительству свою артиллерию для борьбы с повстанцами. Их мало смущало, что тем самым они участвуют в искоренении христианства в Японии, ибо их отнюдь не интересовала судьба ни католицизма, ни — тем более — португальцев, самых ненавистных для голландцев соперников на Востоке, явно стремившихся извлечь коммерческие выгоды из успехов христианства в Японии. Поддержка голландской артиллерии убедила японцев, что голландцы прибыли в их страну исключительно для торговли, и хотя военные правители Японии ничто на свете так не презирали — или, во всяком случае, делали вид, что презирали,— как торговлю, они все же предпочли иметь дело с понятливыми голландцами, чем с высокомерными, необузданными португальскими солдатами.

В 1641 году японское правительство приказало голландцам перенести торговую колонию, или факторию, как ее принято было называть, из Хирадо, на западной оконечности Кюсю, на остров Дэсима [98, 4]. Сначала голландцы обрадовались переезду в более удобную гавань Нагасаки и, возможно, даже восприняли передачу им зданий, первоначально предназначавшихся для португальцев, как своего рода символический акт, означавший, что гегемония на Востоке переходит от Португалии к Голландии. В самом деле, в ту пору голландцы поднимались к зениту своего величия; усилия купцов и престиж голландского оружия в равной мере обеспечивали этот успех.

Величайший из голландских поэтов, Вондель, в оде, написанной по случаю посещения Марией Медичи глав-

ной конторы Ост-Индской компании в Амстердаме, так описывает достижения голландских негоциантов [155, 628—629]:

«В самой Голландии победу одержав,
Пустились мы к брегам неведомых держав,
К Восходу, чтоб вовек бежала ночи тьма
От Солнца Доблести! Отчизны закрома
Хранят теперь блаженное зерно:
В далеких Индиях произросло оно!
И Север, вдалеке от собственной земли,
Зерном восточных жатв наполнил корабли;
Вот Принц Зимы стручком свои уста обжег
И восхвалил в душе сей перечный стручок.
Под Солнцем Юга зреют для него
Все пряности и терпкое вино.
Аравия нам шлет камедь и фимиам,
За ситцами плывем мы к Персии сынам, —
У них же мы шелка скупаем и ковры,
И остров Ява нам несет свои дары!
И свой фарфор Китай шлет нашим городам.
Покинув свой родимый Амстердам,
Твоих сынов сребролюбивый стан
Бродяжит там, где Ганг впадает в океан!
Туда свой держат курс скитальцы-корабли,
Где ждет товар купцов и прибыль им сулит...»[1]

Да, именно «любовь к прибыли», главная двигательная сила всех грандиозных дерзаний Голландии, позволила голландским купцам стерпеть непрерывные унижения, которым они подвергались в Японии. Еще в Хирадо они приниженно держались ради спасения головы и торговли; так, чтобы умилостивить некоего чиновника, заметившего христианскую дату на угловом камне одного из вновь построенных складов для хранения товаров, они разрушили это здание. Но если голландцы надеялись, что в Дэсима им будет лучше, то очень скоро им дали понять, что их ожидает. Они жили под стражей, как узники, которым разрешалось прогуливаться вверх и вниз по двум улочкам крохотного островка; японцы следили за каждым их шагом. Раз в год, весной, директор фактории и несколько его подчиненных совершали путешествие в Эдо (современный Токио), чтобы преподнести подарки сёгуну и тем продемонстрировать свою верность. В «Истории Японии», составленной Энгельбертом Кемпфером, немецким врачом, служившим в фактории в эти годы, сохранилось описание подобных миссий в 1691 и в 1692 годах.

[1] Здесь и далее перевод стихов сделан А. Голембой.

«...Мы ожидали, стоя, в течение часа, пока император займет свое место в зале для аудиенций. Затем вошел Сино-гами с двумя своими помощниками и провел нашего начальника пред императорские очи, нас же оставили ждать. Как только начальник наш вошел в зал, раздался громкий крик „Голланда-капитан!", что было знаком подойти ближе и нижайше поклониться. В соответствии с указанием он полз на коленях, опираясь о пол руками, к отведенному для него месту, между подарками, разложенными в надлежащем порядке, и возвышением, на котором восседал император. Затем, не поднимаясь с колен, он поклонился так низко, что коснулся лбом пола, и в той же позе должен был пятиться назад, словно краб, так и не вымолвив ни единого слова» [118, 87—88].

Сёгун, которого Кемпфер именует «императором», неудовлетворенный этой чисто формальной встречей, вызвал голландское посольство во второй раз. Во время второго свидания он задавал иностранцам множество вопросов. И наконец, чтобы закончить развлечение подобающим образом, «он приказал нам снять наши „каппа" (плащи), служившие парадным одеянием, и выпрямиться во весь рост, чтобы ему было удобнее рассмотреть нас полностью, затем заставил разыграть целую сцену — пройтись, остановиться, приветствовать друг друга, плясать, подпрыгивать, изобразить пьяных, говорить на ломаном японском языке, читать по-голландски, рисовать, петь, снова надеть плащи и снова снять. Мы старались как можно лучше выполнять приказания императора, и я еще исполнил во время пляски любовную песенку на верхненемецком наречии. Вот так, выполняя множество дурацких трюков, на разный лад должны мы были повиноваться, чтобы доставить развлечение императору и его двору» [118, 93—94].

Голландцы шли на подобные унижения, разумеется, не только в Японии: в Китае они, не колеблясь, согласились на троекратный, а потом и на девятикратный земной поклон перед императором во время посещения Пекина голландской торговой миссией в 1685 году [153, 67]. Голландские купцы считали: все, что сослужит пользу Компании, должно быть сделано. Оправдывая свое поведение, они могли бы сказать, что могущественные японские князья точно так же падали ниц, распластываясь на полу перед сёгуном, а монархи отдаленных

народов оказывали самые смиренные почести китайскому императору. Между тем надо отметить, что представители других европейских наций не всегда соглашались на поступки, которые считали для себя унизительными. Так, русский посланник, направленный к пекинскому двору, отказался отвесить традиционный поклон перед императором, пояснив, что «преклоняет колени лишь перед господом». Китайский двор счел себя оскорбленным, и результаты миссии были неблагоприятны [102, 488].

По мере того как шли годы и страх перед христианством постепенно ослабевал, обращение с голландцами становилось несколько мягче, но еще в 1804 году капитан Адам Крузенштерн, доставивший русское посольство в Нагасаки, не находил слов от возмущения, настолько позорным и диким казалось ему поведение голландцев. «Как прискорбно, что просвещенная европейская нация, обязанная своим политическим существованием любви к свободе и в прошлом славная делами великими, настолько унижает свое достоинство ради стремления к прибыли, что покорно повинуется гнусным приказаниям кучки прислужников»,— писал он. По команде переводчика: «Господин директор фактории, приветствуйте высокопоставленную особу!» — голландец сгибался в поклоне почти под прямым углом, вытягивал руки по швам и оставался в этой позе до тех пор, пока чиновник не позволял ему наконец принять нормальное положение. После короткой и неудачной попытки заставить русских поклониться на такой же манер японцы больше не беспокоили их на сей счет [124, I, 257—262][2]. Зато, как

[2] Следует, однако, отметить, что не слишком грациозное «приветствие» было гораздо менее унизительным, чем поклон, обязательный для японских подданных или для голландцев во времена Кемпфера, когда требовалось опуститься на колени и, упираясь руками в пол, склонить голову до земли. Хендрик Дёфф, директор фактории, во время посещения Японии Крузенштерном, был чрезвычайно задет его критикой. В своих «Воспоминаниях о Японии» он уделяет много места объяснению причин, в силу которых голландцы соглашались следовать японским обычаям: «Крузенштерн... возмущается тем, что голландцы подчиняются японскому этикету, и считает это унижением достоинства. Со своей стороны я не понимаю, в чем он усматривает подобное унижение. Поклоны, которые мы отвешиваем японцам в знак уважения, ничем не отличаются от тех, какими они приветствуют друг друга; от нас не требуют оказывать их правителям бо́льших знаков почтения, чем оказывают сами японцы. Кроме того, нельзя ожидать, чтобы другой народ приспосабливался к обычаям чужеземцев, приезжающих, чтобы завоевать его дружбу» [104, 90—91].

справедливо могли бы возразить голландцы, русские и уехали с пустыми руками.

Могущество Голландии, воспетое Вонделем, ко временам Кемпфера значительно потускнело. Люди, снискавшие славу изгнанием испанцев из своей страны, теперь настолько предались духу коммерции, что, «когда армия Людовика XIV успешно продвигалась вперед, завоевывая их страну, эта нация купцов регулярно снабжала французов порохом и снарядами» [116, 24]. В XVIII веке обстановка в Голландии еще больше ухудшилась. Военно-морской флот, обстреливавший в 1666 году Темзу и Мидуэй, в прошлом не имевший соперников на всех морях и океанах земного шара, теперь был уже не в состоянии защитить голландские торговые суда. Между руководителями страны продолжались непрерывные распри, и «в каждом городе были люди, враждовавшие между собой, которые больше пеклись о собственных барышах, чем о процветании страны» [140, 68].

Одновременно с упадком голландского государства хирела и Ост-Индская компания. В ней повторялись все пороки метрополии в формах и масштабах, возможных в обстановке колоний. Один выдающийся голландский ученый описывает коррупцию и стяжательство чиновников Компании как нечто такое, «по сравнению с чем меркнет худшее, что обычно приписывают людям Востока» [106, 13]. Так, даже в Японии, где жесткий регламент обуздывал аппетиты голландских купцов, в довольно больших масштабах процветала контрабанда. Действительно, к концу XVIII века, когда узаконенная торговля в Дэсима приносила все меньше прибыли, главным резоном для сохранения фактории стала контрабанда, которой в интересах личного обогащения занимались голландцы.

В XVIII веке знающие, по-настоящему ученые люди уже редко поступали на службу в Компанию. Так называемые «хирурги» обычно бывали просто помощниками цирюльников, а главное качество, необходимое для директора фактории, заключалось в том, чтобы состоять в родстве с каким-либо другим директором [107, 40]. В Батавии, заморской штаб-квартире Компании, один директор основал Школу по изучению латыни, с тем чтобы хоть немного повысить культурный уровень служащих, но эта школа оказалась недолговечной. Да и

трудно было бы ожидать, что отбросы голландской нации — ибо именно таковыми было большинство служащих Компании — встретили с энтузиазмом начинания такого рода. Их единственной целью была нажива, и к достижению этой цели они стремились с беспредельной энергией и жестокостью. Если оценивать экономическую эксплуатацию, проводившуюся голландцами, даже мерилом XVIII века, деятельность Ост-Индской компании в обеих Индиях внушает ужас. В 1740 году произошло массовое убийство десяти тысяч китайцев в Батавии — бессмысленный, варварский акт, осуществленный Компанией. Многие голландцы на родине были потрясены, узнав об этом событии. Один из них описал в длинной поэме жестокость своих соотечественников за границей[3].

Япония уберегласъ от этих напастей благодаря суровому обращению, которому подвергала голландцев. Наглые и высокомерные в Батавии, где их сила опиралась на войска, голландцы были само раболепство на острове Дэсима. Такое поведение снискало им дурную славу в Европе еще в XVIII веке. Ходили слухи — хотя, по-видимому, они не соответствовали действительности,— будто голландцев заставляют топтать ногами изображение святой девы с младенцем, чтобы доказать равнодушие к христианской религии. «Путешествие Гулливера» Свифта немало способствовало распространению этих слухов; впрочем, даже голландские авторы критически отзывались о деятельности купцов на острове Дэсима, упрекая их в забвении религиозных принципов. Так, в пьесе «Агон, султан Бентамский» (1769) в ответ на хвастливые речи голландца индонезийская принцесса говорит [114, 198]:

---

[3] В. ван Харэн, Стихотворение по случаю убийства китайцев в Батавии [цит. по: 106, 164]. В поэме описывается, например убийство китайской семьи: отец умоляет голландских убийц пощадить если не его самого с женой, то хотя бы ребенка.

«Вместо ответа он чувствует, как сталь пронзает его тело,
И, умирая, видит, как гибнут дорогие его сердцу родные.
Убийцы хватают бедное дитя за нежные, крохотные ножки,
Трижды опускают его в дым и пламя
И осмеливаются сокрушить его, все еще стонущего, ударом
о стенку,
Так что мозги и кровь пятнают лица палачей».

«Пусть нас жестокий Рок поработил
И сладостной свободы нас лишил,
Но все-таки не знал народ моей земли,
Покамест на Восток голландцы не пришли,
Что вольные сыны прославленной Европы
На самом деле суть преподлые холопы,
Что бога своего за деньги и уют
В японской Дэсиме безбожно предают!»

Голландцы в Дэсима были типичными представителями Ост-Индской компании. Из всех голландцев, посетивших Японию за два с половиной столетия, на протяжении которых существовала фактория, наберется не более пяти-шести человек, которых с полным правом можно было считать культурными людьми. Большинство же не питало ни малейшего интереса к Японии и смотрело как на великое наказание, если им приходилось присутствовать на каком-нибудь местном празднике или вообще заниматься каким-нибудь делом, отрывающим их от счетных книг. Страницы журнала фактории, который вели сменявшие друг друга директора, представляют собой унылый реестр торговых сделок, и лишь крайне редко можно встретить словечко, намекающее, что голландцы жили в ту пору в одной из самых очаровательных стран на свете. Шведский ученый С. П. Тунберг, служивший хирургом в голландской фактории в 1775—1776 годах, писал, что европеец, которому пришлось бы окончить свои дни на острове Дэсима, мог считать себя заживо погребенным. Здесь не было ни малейшего намека на какую-либо интеллектуальную деятельность, которая скрашивала бы монотонно текущие дни.

«Так же как в Батавии, мы каждый день после прогулки, которая состоит в том, что мы несколько раз пройдемся вверх и вниз по двум улицам, наносим визит директору. Обычно эти вечерние визиты начинаются в шесть и заканчиваются в десять, иногда в одиннадцать или двенадцать часов ночи; образ жизни весьма неприятный, годный только для тех, кто не умеет иначе проводить свой досуг, чем пыхтеть трубкой» [152, 64].

Надо признать, что японцы создавали множество препятствий для тех голландцев, которые стремились побольше узнать о стране, в которой жили; однако такие люди, как Кемпфер и Тунберг, которые действительно хотели проводить время более рационально, а не

«пыхтеть трубкой», находили способ преодолевать сопротивление японских властей[4]. Что касается остальных, то они почти ничем не могли обогатить европейское общество, жаждавшее новых открытий. «Европа ничем не обязана этой нации с точки зрения знаний о Японской империи...— жаловался на Голландию Крузенштерн.— Подобную сдержанность голландцев не могу не приписать смехотворной, низменной и, во всяком случае, бесплодной политике, противоречащей духу философского века и не подобающей республиканскому правительству» [124, 252].

Но даже когда мы полностью убеждаемся в никчемности, если не в злонамеренности большинства представителей Ост-Индской компании, нельзя не признать, что японцам все-таки повезло, что из всех европейцев первыми посредниками между ними и Западом оказались голландцы. Разумеется, тот факт, что Япония избежала ужасов, ставших уделом населения обеих Индий, в значительной степени объясняется умелым обращением с голландцами самих японцев. Однако если бы хозяевами фактории в Дэсима стали англичане или русские, японцам, наверное, пришлось бы в ущерб своей стране пойти на гораздо большие уступки, чем те, которых добились голландцы. С другой стороны, если бы информация о Западе шла по другим каналам, через более отсталые государства, такие, как Испания или Португалия, японцам вряд ли удалось бы много узнать о достижениях современной науки. А Голландия, несмотря на падение государственной мощи, располагала в Лейдене крупным медицинским исследовательским центром, куда стекались студенты из всех европейских стран для занятий под руководством знаменитого Бёрхаава и других ученых. О некоторых достижениях европейской науки японцы узнали непосредственно от врачей фактории, с другими познакомились по книгам, по мере того как постепенно учились читать по-голландски.

Но и помимо тех областей науки, в которых голландцы по-прежнему сохраняли приоритет, у них было чему

[4] Исаак Титсинг, дважды служивший директором фактории в период 1779—1783 гг., указывал, что главной помехой для изучения Японии является отсутствие инициативы у директоров, а не плохие условия. Однако на его предложение о том, как следует подбирать директоров, Компания ответила, что «общим правилом в этих частях земного шара является служение Меркурию, а не Палладе» [99, 4].

поучиться японцам. Для японцев не имело значения, например, что голландские художники XVIII века писали хуже Рембрандта или Вермеера; техника перспективы и светотени, которой владел даже самый посредственный голландский художник, была сама по себе величайшим открытием для японцев. Голландские книги столетней давности по астрономии или навигации волновали таких людей, как Хонда Тосиаки, с такой же силой, как если бы были написаны лишь вчера. Самые невежественные, помышлявшие только о наживе купцы на острове Дэсима знали тысячу вещей, о которых в Японии не имели ни малейшего понятия.

Огромная трудность состояла в установлении контактов между голландцами и их будущими учениками в Японии. В первое время деловые переговоры с голландцами велись на португальском языке, который играл в те годы на Востоке роль международного языка; но когда португальский язык утратил это значение и все меньшее число голландцев могло изъясняться на нем, японцы поняли, что с купцами придется говорить на их собственном языке. Изучение голландского языка началось в Нагасаки во второй половине XVII века; к 1670 году уже появились переводчики, умевшие не только говорить, но и читать по-голландски [18, 460—461]. Это, впрочем, не означает, что португальский язык был немедленно предан забвению; в XVIII веке еще существовали переводчики с португальского языка, так же как и специалисты по китайскому языку (в его разных диалектах), по языкам Кореи, Сиама и других стран, с которыми Япония допускала торговые отношения.

Переводчики в Нагасаки состояли на государственной службе и пользовались правом наследовать профессию от отца к сыну. Конечно, среди них встречались люди разного дарования, но в целом достижения их были невелики. Сохранилось нечто вроде поименных отчетных карточек 1699 года, где переводчикам даны такие характеристики: «Почти ничего не знает по-голландски...», «Из-за лени или из-за тупости знает лишь минимальное количество голландских слов, хотя изучал язык в течение нескольких лет...», «Так же как и его отец, считается переводчиком португальского языка, однако ни слова не понимает по-португальски...» [18, 461]. Да, не слишком высокие оценки поставили голландские учи-

теля своим ученикам, пожелавшим стать переводчиками. Чтобы облегчить груз, непосильный для сих непрочных сосудов, голландцы при переговорах некоторое время сопровождали оригинальный голландский текст переводом на китайский язык. Однако вряд ли это могло помочь японцам, потому что китайские тексты бывали написаны так неграмотно, что содержание их фактически оставалось совершенно непонятным, если заранее не знать смысл голландского подлинника.

В защиту переводчиков нужно сказать, что они сталкивались с неисчислимыми трудностями. У них не было ни словарей (за исключением наспех, кое-как составленных списков слов и отдельных фраз), ни каких-либо учебников, ни мало-мальски способных учителей. Один переводчик предупреждал будущего студента, решившего изучать голландский язык: «Нетрудно запомнить, как звучит по-голландски слово „вино", а со временем даже усвоить такие фразы, как „Я пью вино", но неимоверно трудно овладеть такими предложениями, как „Я люблю пить вино", не говоря уже о более сложных фразах...» [70, 38—39]. Трудность состояла не только в изучении языка с абсолютно несхожей грамматической структурой, но и в произношении сложных согласных и гласных звуков с помощью простых открытых слогов. При этом нужно учесть, что в те времена японцам было так же трудно различать звуки «р» и «л», как и теперь [5].

Хотя с окончанием «христианского столетия» японские ученые не в пример переводчикам не потеряли полностью интереса к науке Запада, получить новую информацию становилось для них все труднее. Правда, директора фактории во время ежегодных визитов в Эдо представляли правительству доклады о важнейших событиях в мире («фусэцу-гаки»), но доступ к этим документам имели только высшие правительственные чины. Время от времени голландцы также преподносили эдоскому двору географические карты и иллюстрированные книги. Их принимали наряду с более традиционными подарками — хлопчатобумажными тканями и крепкими напитками — и затем... тщательно прятали в храни-

[5] Нарабаяси Дзюбэй, выдающийся переводчик с голландского языка, отмечает, как трудно различать голландские слова «лийк» (труп) и «рийк» (богатый) [71, II, 28].

лищах. В 1717 году одного директора попросили, к немалому его удивлению, перевести заглавие книги по зоологии, преподнесенной голландской миссией в 1663 году. Эта же книга, по-прежнему имевшая безупречно новый вид, снова выплыла на свет в 1741 году, и опять задавались вопросы о ее содержании.

Отношение японцев к изданным на Западе книгам всецело определялось страхом и ненавистью к христианству даже тогда, когда эта религия больше не представляла никакой угрозы для безопасности государства. Именно страх перед христианством привел к полному запрету всех книг, написанных в Пекине на китайском языке священниками-иезуитами или китайцами, обращенными в христианство, независимо от того, имели ли эти книги какое-нибудь отношение к христианству или нет. В 1630 году специальным указом был запрещен ввоз 32 произведений религиозного и научного содержания, написанных Маттео Риччи и другими учеными-иезуитами. Экземпляры этих книг, ранее попавшие в Японию, были конфискованы и либо сожжены, либо спрятаны в секретные государственные хранилища. В число этих книг попали переводы «Элементов» Эвклида, «О дружбе» Цицерона, а также труды по астрономии и географии.

Наибольшие строгости цензуры в отношении китайских книг начались в 1685 году, когда не в меру усердный чиновник в Нагасаки обнаружил на борту китайского корабля книгу о христианстве. Получивший в награду за усердие должность цензора всех ввозимых из Китая книг, он постарался всеми способами доказать, что его пост не просто синекура. Его ведомство либо уничтожало, либо отсылало обратно в Китай (предварительно вымарав сакраментальные места) все книги, в которых упоминалось христианство независимо от контекста. Если на борту китайского корабля находили запрещенные книги, капитана и команду немедленно изолировали, грузы не принимали и командному составу обычно запрещали снова появляться в японских водах. Но даже самый осторожный китайский капитан, тщательно следивший, чтобы на его судне не появилась предосудительная литература, никак не мог бы предугадать, что японский цензор придерется к какому-нибудь художественному произведению только потому, что в нем встречаются слова «царь небесный» («тэндзю») —

термин, обычно означавший бога в устах христиан,— хотя в данной книге эти слова вовсе не имели такого значения [45, 203]. Вот до каких крайностей доходила антихристианская цензура.

Запрет китайских книг, касающихся европейской религии и науки, привел к почти полному отрыву японских ученых от достижений западной науки. Некоторое количество запрещенных книг хранилось тайно в частных книжных собраниях, а некоторые даже ходили в рукописях, но они ценились больше как библиографическая редкость, чем за содержание. Книги на европейских языках не подлежали запрету, поскольку никто в Японии, кроме нескольких переводчиков, все равно не мог их прочесть. Случалось, что давалось молчаливое разрешение на ввоз в страну некоторых китайских переводов западных научных трудов ввиду их очевидной практической ценности, но число таких книг было ничтожно.

Только в 1720 году последовало некоторое смягчение этих запретов. Сёгун объявил, что книги, ранее запрещенные, но фактически не излагавшие христианских доктрин, могут иметь хождение в Японии. Этот сёгун, Токугава Иосимунэ, очень интересовался наукой, в особенности математикой и астрономией, и его декрет был вызван обычным желанием иметь точный, исправленный календарь. В Японии, так же как и в других странах, находившихся в сфере китайской цивилизации, календарь играл весьма важную роль в государственном управлении. «Дать время народу» считалось обязанностью правителя; это означало обнародовать календарь, который соответствовал бы движению планет и звезд, и тем самым обеспечить соблюдение всех ритуалов в надлежащее время. Кроме того, календарь являлся для всей страны своего рода справочником, в котором говорилось, когда надо сажать рис, назывались «счастливые» и «несчастливые» дни и т. п. Иосимунэ как добропорядочный конфуцианский правитель считал своим высшим долгом дать народу безупречный календарь, а его научные познания позволили ему понять, что ныне действующий календарь составлен небрежно и полон ошибок.

В качестве знатока календарей сёгуну рекомендовали Наканэ Гэнкэй, серебряных дел мастера из Киото. Наканэ вызвали в Эдо для проверки. Ответы Наканэ настолько понравились сёгуну, что ему поручили расста-

вить знаки для чтения в недавно привезенной из Китая книге — это было написанное на китайском языке научное руководство по составлению календарей[6]. Наканэ выполнил приказание, но доложил, что данное руководство всего лишь краткое изложение более исчерпывающей западной книги и что, пока он не познакомится с ее полным изданием, он не в силах дать полное объяснение текста. В конце концов удалось достать полный китайский перевод, на основе которого Наканэ составил календарь. Тем не менее он был неудовлетворен работой и сообщил сёгуну, что ему необходимо просмотреть другие книги для того, чтобы до конца усвоить правильный метод составления календарей. Запрет на все книги, содержащие слова «царь небесный» или упоминающие Маттео Риччи, препятствует японским ученым идти дальше в своих трудах... В конце прошения Наканэ писал, что, если сёгун желает поставить дело составления календарей в Японии на научную основу, нужно смягчить суровые ограничения ввоза западных книг в переводе на китайский язык [74, XLVI, 292].

Указ Иосимунэ от 1720 года явился первым необходимым шагом на пути знакомства с западной наукой. Но, к сожалению, количество китайских переводов научных книг было крайне невелико. Только в 1740 году Иосимунэ решил поощрить изучение голландского языка и приказал Норо Гэндзё и Аоки Конё заняться голландским языком: Норо — в научных целях, Аоки — для составления словаря. Норо и Аоки приступили к занятиям лишь год спустя, когда переводчики, сопровождавшие очередную голландскую миссию в Эдо, дали им несколько уроков. Поскольку уроки могли происходить лишь несколько дней в году, пока голландцы находились в столице, не приходится удивляться, что оба ученика приобретали знания очень медленно. К 1750 году Норо удалось составить «Японские разъяснения голландской ботаники» («Оранда хонсо вагэ»), материалом для которых послужили беседы с членами голландских миссий и выполненные специально для Норо переводы некоторых европейских трудов по ботанике. Словарь

[6] Речь идет о «Ли-суань Чжуань жу» («Рэкисан дзэнсё») — сборнике, составленном Мэй Вэнь-тином (1633—1721) на основе различных западных трудов, написанных еще до создания теории Коперника. Даже эта столь устаревшая для своего времени книга произвела тем не менее сильное впечатление на японцев [см. 67, 120].

Аоки появился лишь в 1758 году. Это не столь уж грандиозный труд, особенно если учесть, что его автор — выдающийся ученый, но все же составление словаря имело историческое значение.

Но гораздо важнее самих трудов Аоки и Норо был тот факт, что отныне изучение голландской науки стало свидетельством респектабельности. После того как при благосклонном отношении самого сёгуна двое наиболее выдающихся ученых страны посвящали себя изучению «варварской науки», ее больше нельзя было отвергать как недостойное занятие. Итак, голландская наука вышла за пределы узкого круга переводчиков в Нагасаки, перешагнула порог дворца самого сёгуна, и не прошло и нескольких лет, как во всех уголках Японии появились люди, изучавшие Запад.

Глава II

РАСПРОСТРАНЕНИЕ «ВАРВАРСКОЙ НАУКИ»

В XVIII веке лишь немногим японцам доводилось когда-либо встречать иностранца. Жители Нагасаки могли случайно увидеть китайских купцов и моряков, а обитателям деревень, расположенных вдоль дороги, ведущей в Эдо, иногда случалось мельком заметить сидящего в паланкине голландца, спешившего совершить свой ежегодный визит в столицу, однако большинство японцев считало иностранцев (и в особенности европейцев) чем-то вроде оборотней, только внешне напоминающих человека.

Голландцев называли «комо» — «красноволосые»; этим прозвищем стремились не столько передать действительный цвет волос иностранцев, сколько подчеркнуть, что речь идет о некоем демоническом существе[1]. Так же именовали и португальцев, которые, как однажды всенародно объявил сёгунат, имели «кошачьи глаза, огромный нос, красные волосы и язык, как у птицы-сорокопута» [75, VI, 572]. Но постепенно слово «красно-

[1] Трудно точно определить, что подразумевалось под прозвищем «красноволосые». Первыми так назвали европейцев китайцы, может быть оттого, что волосы европейцев показались им настолько светлыми, что ассоциировались с изображениями красноволосых демонов буддийского пантеона. Японцы усвоили китайское название, хотя отдельные авторы, видевшие голландцев в жизни, иногда отмечали, что волосы у них желтые или коричневые, что, несомненно, было гораздо ближе к действительности.

волосые» стало означать только голландцев, и японские художники неизменно изображали их с кудрями соответствующего цвета. Казалось бы, личное общение должно было убедить японцев, что в жизни иностранцы не такие уж страшные существа. Тем не менее один посетитель голландского корабля докладывал: «Когда мы поднялись на палубу, капитан и другие лица сняли шляпы, приветствуя нас. Лица у них темные, болезненно-желтоватые, волосы желтые, а глаза зеленые. Кто при виде их не обратился бы в бегство от страха?» [83, 2—3].

Однако время шло, и более здравомыслящие люди пытались опровергнуть распространенные в обществе фантастические представления о голландцах. «Говорят, будто у голландцев нет пяток, что глаза у них как у зверей и что они великаны,— пишет один автор.— Но все дело в том, что жители разных стран всегда несколько отличаются друг от друга. Из того, что голландцы не похожи на нас, вовсе не следует, будто они похожи на животных. Все мы порождение одного творца». Данный автор считает настолько нелепым слухи, будто голландцы, когда мочатся, поднимают одну ногу, как собаки, что, по его мнению, их даже не стоит опровергать [57, 494].

Не только внешность голландцев считалась странной; они были совершенно незнакомы с традиционной китайской наукой, и по одной лишь этой причине некоторые образованные японцы причисляли их к разряду животных. Один даймё спросил однажды у Хонда Тосиаки, как могло случиться, что голландцы, чье невежество в писаниях великих мудрецов явственно изобличает их животную сущность, способны создавать множество замечательных вещей. Хонда сухо заметил, что даже животные бывают иногда удивительно искусны [85, 126—127]. А Сиба Кокан (1747—1818 гг.), другой ведущий ученый, изучавший западные науки, на такой же вопрос ответил: «Если ваши слова справедливы, значит, люди уступают умом животным» [43, 32].

Люди типа Хонда и Сиба, чьи представления о голландцах соответствовали реальному положению вещей, составляли абсолютное меньшинство. Для подавляющей части населения Японии слово «Оранда» (японское произношение названия «Голландия») было синонимом всего непривычного и чужеземного. Когда поэт и прозаик Сайкаку начал писать стихи в манере, показавшейся со-

временникам необычной, его стиль назвали эксцентричным, «орандским». Слово «Оранда» употреблялось иногда и в положительном смысле, когда речь шла о вещах, которые были последним криком моды, но чаще всего оно использовалось для обозначения путаницы, бессмыслицы. Даже малые дети в Нагасаки кричали: «Это по-голландски!» — когда кто-нибудь из них нарушал правила игры [61, 92].

Те немногочисленные люди (например, официальные чиновники), которые входили в непосредственный контакт с голландцами, не извлекли никакой пользы из этого общения. Их отношение к голландцам можно охарактеризовать как смесь исключительно назойливого любопытства с тягой ко всему необычному, экзотическому. Может быть, кто-нибудь думает, что здесь имело место своеобразное «любопытство ума», однако достаточно беглого взгляда на запись бесед с голландцами, чтобы убедиться, какой случайный, бессистемный характер носили задаваемые вопросы. «Кто главный военачальник в Голландии?», «Бывают ли у людей в вашей стране вставные зубы?», «Есть ли в Голландии большие реки?», «Что такое мумия?» [11, 3—7] — таковы типичные вопросы к голландцам, и, как бы обстоятельно ни отвечали последние, стоило прибыть новой группе голландцев, как у них спрашивали фактически то же самое.

Характерная для японцев любовь ко всему необычному привела к коллекционированию всякого рода европейских «диковин», начиная с часов и кончая редкими животными. Богатые любители приобретали по высоким ценам голландские книги и научные инструменты, но не ради тяги к знаниям, которую можно было утолить с помощью этих предметов, а как забавные курьезы. Ученый Оцуки Гэнтаку (1757—1827), стремясь доказать преимущества торговли с голландцами, приводит длинный перечень полезных предметов, ввозимых из Голландии [57, 221], однако широкую известность и распространение приобрели в Японии только голландские лекарства и ткани[2]. Японские ученые-экономисты сокрушались, что ввоз голландских товаров порождает привычку к экстравагантности. Один из них нарисовал схему по-

[2] В перечень Оцуки входят часы, телескоп, шафран, слоновая кость, сахарный песок, гвоздика, перец, бархат и разные лекарства и ткани.

степенно возрастающей роскоши в одежде: простой народ перешел от хлопчатобумажных тканей к чесуче, затем к шелку, к парче, к вышитым китайским тканям и, наконец, к голландской шерсти, самой необычной и потому самой желанной из всех тканей [1, 11].

Переводчики в Нагасаки разделяли это общее увлечение заграничными изделиями. Они были в восторге, например, от новогоднего обеда, устроенного голландцами, и нашли каждое блюдо изумительным [40, 454]. Некоторые переводчики гордились тем, что могут обставить комнаты в собственном доме на иностранный манер. Когда Сиба Кокан в 1788 году посетил Нагасаки, он ел китайское печенье в комнате, обставленной по-голландски,— упоительное сочетание экзотики! Впрочем, Сиба не разделял восторгов переводчиков по поводу голландского убранства комнаты. Он так описывал свой визит в комнату главы фактории: «Там стояли в ряд стулья, возле каждого находилась серебряная плевательница высотой около двух футов, похожая на вазу для цветов. На полу, поверх циновок, лежала ткань с узором, изображавшим цветы, а с потолка свисала стеклянная люстра». Пока Сиба со смутным неодобрением рассматривал комнату, вошел директор с трубкой в руке и приветствовал японца. «Не правда ли, великолепное убранство?» — самодовольно воскликнул он. «Я поражен!» — ответил Сиба, но про себя заметил, что голландец, наверное, считает японцев примитивными существами, если они не разделяют его восторгов по поводу подобного убранства [61, 100—106].

Лишь немногие переводчики пытались извлечь какую-то научную пользу из своего общения с голландцами. В 1763 году переводчик Китадзима Кэнсин, основываясь на голландском труде, изданном в 1700 году, написал работу под названием «Объяснения голландских земных и небесных карт». Но простой перевод голландских картографических работ не удовлетворил Китадзима; он выдвинул свою собственную теорию — Япония вместе с островом Эдзо, Кореей, островами Рюкю, Тайвань, Лусон, Ява и т. д. образует особую часть земного шара [67, 2—5]. Он назвал эту часть мира «Fortis Yamato».

В подготовке этой работы ему помогал переводчик Ниси Дзэндзабуро, один из наиболее одаренных людей того времени, хорошо знавший обычаи и нравы голланд-

цев. В 1767 году Нисн приступил к осуществлению честолюбивого замысла — он решил единолично составить голландско-японский словарь. Увенчайся это похвальное намерение успехом, изучение голландского языка, несомненно, значительно продвинулось бы вперед, но в следующем году Нисн скончался, дойдя в своих трудах только до буквы Б [20, 30].

Любопытно, что Нисн известен также как человек, отговоривший двух врачей — Маэно Рётаку (1723—1803) и Сугита Гэмпаку (1733—1817) — от изучения голландского языка, когда те поделились с ним своими планами.

Не приходится сомневаться, что некоторые переводчики ревностно оберегали голландский язык от «посягательств» посторонних и считали знание языка своего рода семейной привилегией; эти соображения могли скрываться и за утверждением Нисн, что изучить этот язык практически невозможно. Маэно, успевший уже взять несколько уроков голландского языка у Аоки (правда, без большого успеха), все-таки решил поехать в Нагасаки и научиться всему, что будет ему доступно. Он совершил эту поездку приблизительно в 1770 году и вывез из Нагасаки несколько голландских книг и разговорник, содержавший несколько сотен слов. Однако дальше того, чтобы выписать слова из научных книг, ставших теперь его собственностью, он не пошел.

Что касается Сугита, то последний был так подавлен словами Нисн, что полностью оставил мысль о лингвистических занятиях. Его интерес к западной медицине вновь пробудился в 1771 году, когда он увидел два голландских учебника анатомии. Обладатель книг намекнул, что хотел бы продать их, и Сугита внимательно рассмотрел обе книги. «Разумеется, я не мог прочитать ни слова, однако рисунки, изображавшие внутренности, кости и мышцы, были совсем непохожи на все, что мне случалось видеть до сих пор, и я понял, что, по-видимому, они срисованы с натуры. Мне страстно захотелось приобрести эти книги... Но в те времена я был так беден, что не мог об этом и помышлять» [70, 46]. На помощь Сугита пришли влиятельные лица из его клана; они купили для него один из этих учебников.

Книга, приобретенная Сугита, была «Tafel Anatomia» немецкого врача Иоганна Адама Кульмуса[3], изданная в 1731 году. Теперь, когда книга наконец при-

надлежала ему, Сугита не терпелось проверить ее содержание на практике. В те времена в Японии только парии — «эта́» — занимались вскрытием трупов. Эти несчастные люди выполняли работу мясников, кожевенников, меховщиков, эти профессии считались «низкими». Вскрытие трупов также было специфическим занятием «эта́». Иногда врачи нанимали их для этой цели; за несколько лет до описываемых событий два придворных врача обнародовали работу, в которой рассказывалось о восьми случаях вскрытия, которые им удалось наблюдать. В этой книге они пытались дать какое-то компромиссное объяснение расхождениям, существовавшим между рисунками в китайских медицинских трудах и своими фактическими наблюдениями. Они нашли такой компромисс, заявив, что по глубоком размышлении пришли к выводу: внутренние органы китайцев и японцев, очевидно, устроены по-разному [70, 59].

Сугита повезло: в апреле 1771 года один из друзей сообщил ему, что некий врач будет производить вскрытие, которое состоится на следующий же день. Это должно было произойти на месте казней в Коцугахара; объектом была женщина пятидесяти лет по кличке «Матушка Зеленый Чай», приговоренная к смерти за какое-то тяжкое преступление. Сугита попросил присутствовать нескольких друзей, в том числе Маэно Рётаку. Маэно тоже принес с собой «Tafel Anatomia» — одну из книг, добытых во время пребывания в Нагасаки. Сугита описал все, что затем последовало, и это описание заслуживает того, чтобы процитировать его полностью:

«Мы все отправились на место казней в Коцугахара, готовясь получить урок анатомии. Вскрытие должен был производить „эта́“ по имени Торамацу, имевший репутацию весьма искусного в этом деле. Он обещал прийти. Но в этот день он внезапно заболел, и вместо него явился девяностолетний старик, его дед. Это был крепкий старик, сказавший, что занимается этим делом

[3] Более точное название работы Кульмуса — «Tabulae Anatomicae», здесь, так же как и в других воспоминаниях, память явно изменила Сугита. Вторая книга — «Anatomia Nowa» датского ученого Каспара Бартолина (1585—1629) — поступила в его владение несколько позже. При переводе «Tafel Anatomia», известном под названием «Кайтай Синсё», Сугита использовал обе эти книги и многие другие учебники анатомии [об источниках его перевода см. 50, 7—98].

с молодых лет и за всю свою жизнь вскрыл множество трупов.

До сих пор вскрытие всегда производили „эта“; они указывали на какую-либо часть тела и объявляли зрителям, что это — легкие, а то — почки, и люди, присутствовавшие при вскрытии, уходили в убеждении, что видели все, что можно увидеть. Поскольку ни на каком органе не написано, разумеется, его название, зрителям оставалось удовлетворяться тем, что говорил им „эта“.

В этот день старый „эта“ точно так же указывал то на одну часть тела, то на другую и называл их по очереди, однако встречались органы, названия которых он не знал, хотя у всех мертвецов, которых он раньше вскрывал, всегда имелись эти органы и находились они всегда в одном и том же месте. Старик заявил также, что ни один врач, ранее присутствовавший при вскрытии, никогда не интересовался, что это за органы.

Когда мы с Рётаку сравнили то, что предстало нашему взору, с рисунками в книге, мы воочию убедились, что все точно соответствовало картинкам. Мы не увидели шести долей и двух сегментов в легких или три доли на правой и четыре доли на левой почке, как о том всегда говорится в китайских медицинских книгах. Положение и форма кишок и желудка тоже оказались совсем не такими, как описано в старых книгах» [70, 51—52].

Сугита и Маэно, окончательно удостоверившись теперь в преимуществах голландского учебника анатомии, решили перевести его на японский язык. Но единственным подспорьем для перевода, которым они располагали, был весьма несовершенный словарь, раздобытый Маэно в Нагасаки. Вместе с еще одним врачом, по имени Накагава Дзюнан, они трудились над переводом четыре года, нередко тратя многие часы, чтобы понять смысл одного-единственного слова. Трудно было не только вникнуть в смысл слов, но и подобрать при переводе соответствующий японский эквивалент. Иногда переводчики использовали термины, встречавшиеся в старых китайских книгах по медицине. В других случаях приходилось изобретать новые, так как китайские зачастую не соответствовали смыслу голландских слов. В конце концов перевод закончили; решено было опубликовать его. Сугита и Маэно знали, что довольно пу-

стая книга под названием «Рассказы о Голландии»[4], опубликованная в 1765 году, была конфискована, а доски, с которых она печаталась,— уничтожены за то, что на одной из иллюстраций воспроизводился голландский алфавит. Чтобы уберечь свой труд от подобной участи, они заранее преподнесли по экземпляру книги двору сёгуна в Эдо и в императорский дворец в Киото. Только убедившись, что не последовало никаких возражений, они пустили книгу в продажу в 1774 году. Это был первый случай в истории Японии, когда книга, переведенная с голландского языка, продавалась открыто.

Как ни было благотворно влияние перевода «Tafel Anatomia» на развитие японской медицины, значение этой книги выходит далеко за пределы медицинской науки. Этот перевод вызвал огромный интерес к голландской науке во всех областях знания, хотя медицина по-прежнему осталась главным объектом изучения. По счастливой случайности это внезапное пробуждение интереса к западной науке совпало с пребыванием на посту директора фактории С. П. Тунберга, о котором уже упоминалось выше. Когда японцы поняли, что Тунберг гораздо образованнее, чем любой из его предшественников, они стали буквально забрасывать его вопросами как в Нагасаки, так и в Эдо во время его визитов в столицу. Тунберг вспоминает, что японцы смотрели на него «как на оракула, который, по их мнению, может сообщить им сведения по любому вопросу» [152, III, 256]. Наконец-то любознательность, которой так отличались японцы в своих прежних контактах с голландцами, получила определенную направленность. И хотя японцы по-прежнему нет-нет да и задавали банальные вопросы, все же теперь их расспросы преследовали какую-то разумную цель.

Энтузиазм и целеустремленность японских врачей, посещавших Тунберга в Эдо, произвели на него глубокое впечатление, однако его мнение об их профессиональной квалификации было весьма невысоко. Их познания в области терапии были так скудны, пишет он, что вылечить больного они могли лишь случайно. Любопытно читать, например, как японские врачи в течение

---

[4] Автором этой работы (по-японски «Оранда-Банаси») был Гото Рисюн (1702—1771).

пятнадцати минут щупали пульс пациента отдельно на каждой руке. Впрочем, настойчивые советы Тунберга применять кровопускание как лучший метод лечения при самых разнообразных заболеваниях напоминают о том, что и западная медицина в те времена тоже не была свободна от недостатков... Но японские врачи, уверовавшие в западную науку, не ведали сомнений и решительно применяли кровопускание, хотя часто при этом не могли унять дрожь в руках [152, III, 201].

Примерно в это время изучение западных наук стало называться «рангаку» («ран» — производное от слова «Оранда») вместо прежнего «бангаку» («варварская наука»), что свидетельствовало об уважительном отношении, которым отныне пользовались эти знания. У Маэно и Сугита появилось много молодых, жаждущих знаний учеников. К этому времени Маэно уже неплохо изучил голландский язык и написал несколько учебников голландского языка в помощь начинающим. Однако наиболее значительной работой такого рода является «Лестница к изучению голландских наук», учебник голландского языка, написанный в 1787 году Оцуки Гэнтаку, учеником Маэно [57]. Каким бы ценным ни был краткий обзор голландской грамматики и фонетики, который дает Оцуки в этой книге, он играет второстепенную роль по сравнению с ее главной заслугой — защитой голландской науки, как таковой. Здесь впервые «рангаку» объявлялась занятием столь же достойным внимания благородного человека, как традиционная китайская философия.

Борьба между «рангаку» и конфуцианством, первый этап которой падает как раз на это время, продолжалась в течение долгих лет, не принеся победы ни одной, ни другой стороне. Первые ученые, такие, как Норо и Аоки, были воспитаны в конфуцианском духе, и даже сам Сугита писал, что подъем «рангаку» был бы невозможен без предварительного изучения китайской науки. Однако, когда конфуцианцы поняли, что перед ними опасный соперник, они перешли в наступление. Защищая голландскую науку, Оцуки писал: «С тех пор как началось изучение голландской науки, ученые-конфуцианцы всегда отвергали ее, заявляя, что нам не следует приобщаться к варварским знаниям. В чем смысл подобного отрицания? Конечно, голландская наука несовершенна, но если мы возьмем из нее все самое луч-

шее, разве это может принести нам вред? Что может быть абсурднее, чем заведомый отказ от достоинств этой науки и упорная приверженность тому, что мы лучше знаем, без стремления к переменам?» [57, 226].

Позиция Оцуки кажется нам вполне разумной, и современный читатель может лишь недоумевать, почему нельзя было бы одновременно изучать голландскую науку и при этом чтить традиционные добродетели: сыновнюю почтительность, гуманность, правила поведения в обществе и прочее. Однако вопрос о ценности голландской науки затрагивал приоритет китайской конфуцианской мысли. В Японии эпохи Токугава существовала законченная формула — сочетание китайской учености и японского «духа». Большинство японских конфуцианцев этого времени стремились доказать, что достижения китайской мысли уравновешиваются превосходящими японскими духовными добродетелями и что самым совершенным человеком является тот, кто преуспел в обеих сферах. Для «рангаку» не было места в этой схеме: все, чего не хватало Японии в области науки, должно было поступать из Китая. Иными словами, в качестве дополнения к исконно японскому духовному наследию японцы должны были выбирать между китайской и западной наукой. Просто добавить «рангаку» к тому, что существовало, было невозможно; это в корне нарушило бы господствующий образ мышления.

Первый контрудар сторонников голландской науки в ответ на нападки конфуцианцев вылился в критику самого Китая, разумеется, не из каких-либо враждебных чувств к конфуцианской морали или к китайскому народу, а просто из смутного сознания, что в природе может существовать лишь одна подлинная наука. Оцуки использовал новые географические открытия для критики Китая, претендующего на роль центра мира: «Закоснелые конфуцианцы и ученые-схоласты не имеют понятия о том, как огромен мир. Они сбиты с толку китайскими идеями и, подражая китайцам, славят „Срединную империю“ или же рассуждают о „великом пути Срединного Цветущего государства“. Это ошибочный взгляд. Мир — огромная сфера, на поверхности которой расположены различные государства. Хотя сама природа определила их границы, каждый народ дает почетное наименование своей стране. Китай называется „Срединной равниной“, „Срединным Цветком“, „Срединной им-

перией", „Божественным материком". Точно так же Голландия называет Германию, свою „материнскую страну", „Мидделланд", т. е. „Срединным государством", а наша страна именует себя „Накацукуни" — „Страной, находящейся в середине". Англия отсчитывает градусы долготы по местоположению своей столицы и, наверное, тоже имеет какое-нибудь сходное наименование для своей страны.

При таком подходе центром мира должен был бы считаться Египет, страна, расположенная в Африке. Это означало бы, что Китай и Япония находятся на восточном краю света, а Голландия и другие европейские страны — на северо-западном. Чем же можно извинить, что мы перенимаем горделивые привычки китайцев и говорим о „Срединном Цветущем государстве", „Цветущем народе", „Цветущих кораблях" и так далее? Долгое время мы подражали им, бездумно восторгаясь их обычаями и не помышляя ни о чем другом. Это привело нас к чрезмерному невежеству в географии и к скудости знаний, которых мы добились с помощью нашего зрения и слуха. Так получилось, что наши соотечественники знают только названия „Китай" и „Индия", а встречаются и такие, которые думают, что Голландия — это китайские владения. Некоторые даже считают каждого иностранца, за исключением китайцев, варваром, недостойным упоминания. Как несовершенна и ограниченна такая наука» [57, 226].

Вариации на ту же тему звучат в предисловии к «Лестнице к голландской науке», написанном друзьями Оцуки[5]: «В прошлом правители торговали со всеми странами, заимствуя отовсюду лучшее. Они не отдавали предпочтения „китайскому" перед „варварским", поэтому в Японии существуют и конфуцианство и буддизм». Один из авторов (Кутики Рюкё) отмечает, что составители «Анналов Японии» («Нихонги») упоминают о китайцах как о «варварах» и что в первой японской переписи населения их классифицировали именно так. Другой автор предисловия, Огино Кюкоку, заявил, что китайская наука ныне мертва и ее лучшие традиции

[5] Предисловие, написанное Кутики Рюке (1750—1802), представляет особый интерес, так как автор, даймё княжества Фукутияма, был в то же время видным покровителем голландской науки. Кутики и сам опубликовал в 1789 г. внушительный труд по географии Запада под названием «Тайсэй ёти дзусецу».

продолжают голландцы. Голландская наука основана не на пустых умозаключениях, а на фактах, поэтому японцы должны ее изучать. Таким образом, авторы предисловия, вначале исходившие из мысли, что китайцы ничем не лучше других народов, затем заняли более наступательную позицию, заявляя, что они хуже японцев или голландцев.

Появление подобных взглядов имеет величайшее значение в истории развития японской мысли. В Японии с самого начала развития цивилизации образцом — прямо или косвенно — всегда был Китай. Конечно, китайские идеи неизбежно претерпевали в Японии значительные изменения и некоторые эстетические и духовные представления японцев не подверглись серьезному китайскому влиянию, но в целом Китай считался источником всякой мудрости и японские претензии на признание обычно выливались в заявления: «Хотя мы маленькая страна, но все же во многих отношениях достойны сравнения с Китаем». С появлением же «рангаку» претензии Китая на исключительность стали отвергаться: «Солнце и луна сияют равно для всех». Японские ученые начали сомневаться в ценности всего, чему верили в течение более чем тысячи лет.

Иную форму протест против китайской науки принял среди приверженцев «кокугаку» — «национальной науки», подъем которой в основном совпадает с пробуждением интереса к «рангаку». Ученые «кокугаку» находились под сильным влиянием «рангаку». Они пытались доказать наличие высокой культуры в национальной японской религии синто и в национальной японской литературе, чтобы освободить Японию от всякой духовной зависимости от Китая. Иногда для доказательства правильности своих взглядов эти люди заходили так далеко, что попадали подчас в смешное положение, когда утверждали, например, что у японцев была своя письменность до введения китайских иероглифов, или при этимологическом толковании некоторых слов. Основанная на столь непрочной основе, эта школа была, естественно, заинтересована в любой поддержке извне. Этим и объясняется, что ученые «кокугаку» с готовностью приняли антикитайские доводы Оцуки и его друзей. Они даже объявили «рангаку» необходимым элементом при подготовке ученых «кокугаку». Что касается сторонников «рангаку», то они не приветствовали,

но и не отвергали своих странных союзников; они с холодной вежливостью относились к религии синто, но знали достаточно о внешнем мире, чтобы понимать, что Япония не может считаться ни ведущей, ни самой древней страной на свете.

Конфуцианцы, ставшие, таким образом, мишенью для нападения со стороны приверженцев как голландской, так и национальной науки, яростно парировали удары и, может быть, вынуждены были стать гораздо ортодоксальнее, чем сами того хотели. К концу XVIII века придворные конфуцианцы добились от правительства запрещения преподавать конфуцианскую философию любой другой школы, кроме ортодоксальной школы Чжу Си, и, хотя с наступлением XIX века необходимость изучения западных наук становилась все более очевидной, ограничения в этой области стали еще более жесткими.

Было бы, однако, несправедливо считать всех конфуцианцев упорными противниками прогресса. Сам Оцуки цитировал с одобрением высказывания Сибано Рицудзан (1734—1807), ортодоксального конфуцианского ученого, признававшего тем не менее некоторую ценность западной науки. По мнению Сибано, даже варвары, не умеющие читать китайские книги, способны делать такие выводы из своих наблюдений, которые могут быть полезны для всего человечества [57, 226]. Это вынужденное признание достоинств иностранной науки относилось первоначально к европейской медицине, единственной области «рангаку», которой удалось избежать правительственных гонений в трудные годы начала XIX века. Во всяком случае, большинство приверженцев «рангаку» обращались к изучению голландской медицины. Когда занятия другими отраслями науки становились опасными, многие избирали профессию врача вопреки личным склонностям, только для того, чтобы иметь возможность продолжать занятия голландской наукой без серьезного риска. Лишь постепенно голландская наука завоевала главенствующее положение во всех областях знания. К этому времени произошло сближение конфуцианства с древним японским «духом» и новое сочетание «Восточной морали и западных прикладных наук» нашло отражение в бесчисленных произведениях японских авторов.

В XVIII веке, которому в основном посвящено наше

исследование, желающие изучать западные науки располагали большими возможностями. Оцуки, начавший свою деятельность как врач, настолько преуспел в голландском языке, что решил посвятить себя главным образом лингвистике. В 1789 году он открыл первую в Японии Школу голландского языка, так называемую «Школу Сирандо» в Эдо. В период между 1789 и 1826 годами в этой школе обучалось 94 ученика, в основном люди, интересовавшиеся медициной, однако были представители и других профессий [18, 55]. Такие же школы открылись впоследствии в других городах страны. Число людей, обучавшихся в этих школах, точно установить невозможно, но можно смело утверждать, что большинство наиболее выдающихся, хотя, увы, далеко не самых влиятельных людей в Японии XVIII века, интересовались новой наукой: одни — всего лишь из любопытства, другие — по глубокому убеждению. В 1815 году Сугита, которому исполнилось уже восемьдесят два года, оглядываясь на успехи распространения «рангаку», чему он в значительной степени способствовал, писал: «Говорят, что капля масла, оброненная на поверхность пруда, может, распространившись, покрыть всю поверхность воды, и это вполне вероятно. Вначале нас было только трое — Маэно Рётаку, Накагава Дюзнан и я. Мы сошлись, чтобы наметить пути наших занятий. Сейчас, когда с того дня минуло почти полвека, эта наука охватила самые отдаленные уголки страны, и каждый год появляются новые переводы. Это тот случай, о котором говорят: стоит залаять одной собаке, как ее лай сразу же подхватят десять тысяч других собак...» [70, 86].

Глава III

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ О МОСКОВИИ

Возможно, что «рангаку» так и не вышла бы за пределы чисто академических упражнений, если бы не внешняя угроза, нависшая над мирной жизнью изолированной от мира Японии. Она-то и заставила некоторых японцев обратиться к «голландской науке», в которой они видели и руководство, и источник информации. Эти люди интересовались не столько голландской медициной или астрономией, сколько стремились узнать, каким образом Япония могла бы, следуя примеру стран Европы, превратиться в сильное, экономически крепкое государство. В трудах Хонда Тосиаки неоднократно упоминаются главные мотивы, побудившие японцев в конце XVIII века заниматься этой проблемой. Это были письма барона фон Бениовского и возвращение на родину потерпевшего кораблекрушение Кодаю.

Предостережение авантюриста

В истории Нового времени найдется, пожалуй, немного персонажей, столь же любопытных, как барон Мориц Аладар фон Бениовский. Судьба бросила его из Венгрии, где он родился, в Азию, сперва в камчатскую ссылку, затем к берегам Японии и Китая, куда он добрался на похищенном судне, далее в Америку и в Европу, где сановные вельможи поддерживали его химерические проекты, и, наконец, на Мадагаскар, где он

закончил свой жизненный путь после попытки утвердиться в роли «царя царей». Его ложь и интриги проистекали, по-видимому, единственно из желания сеять распри и смуту, чем он и занимался с большим успехом во всех уголках земного шара.

В пространных мемуарах Бениовский красочно описал свои действительные или мнимые приключения. Он повествует не только о том, как в бою с русскими он попал в плен, о страшном путешествии в кандалах через дикие просторы Сибири, о жизни на Камчатке зимой 1770/71 года, но и о прекрасных девицах, бессильных устоять перед его мужским обаянием, и о великих почестях, которые он заслужил благодаря своей храбрости и талантам. Познакомиться с полным описанием его жизни было бы, разумеется, весьма интересно, однако мы вынуждены ограничиться здесь лишь историей кратковременного визита Бениовского в Японию и тех событий, которые непосредственно за этим последовали.

В мае 1771 года Бениовский, сытый по горло камчатской ссылкой, подговорил заключенных устроить бунт, ухитрился завладеть маленьким судном, стоявшим в гавани, и вышел на нем в море. Характерно, что конечной целью бунта он провозгласил свержение «узурпаторши» Екатерины II, желая таким способом придать больше веса всей этой авантюре, затеянной, по-видимому, с довольно корыстной целью. Впрочем, эти честолюбивые замыслы скоро отступили на второй план под давлением обстоятельств. Через некоторое время на судне стал ощущаться недостаток продовольствия, так что было весьма сомнительно, удастся ли беглецам достичь берегов Европы и уж тем более сохранить достаточно сил и энергии для восстановления законного наследника на престоле царя «всея Руси».

К счастью для Бениовского, 8 июля 1771 года, т. е. через два месяца после побега с Камчатки, на горизонте показалась земля. Авантюрист подробнейшим образом описал все, что произошло с ним в Японии, в бухте «Усильпачар», как он произвольно окрестил эту местность. Ему оказал там королевские почести «великий Уликами», «король данной провинции, выдавший одну из дочерей замуж за самого императора, один из образованнейших людей своей страны, в особенности сведущий в астрономии. Душа его обладала поистине небесными добродетелями, по каковой причине он ни-

когда не причинял никому ни малейшего зла; подданные боготворили его, а жители остальных провинций мечтали о нем как о своем повелителе...» [94, I, 398].

Рассказ Бениовского о празднествах, устроенных в его честь, о его философских диспутах с просвещенным японским монархом и об утонченных манерах и обычаях жителей этой страны мог бы сам по себе внушить подозрение, принимая во внимание наши сведения о том, как обычно обращались японцы с иностранцами. Но кроме того, сохранились точные доказательства лживости всего рассказа об «Уликами» и его дворе. Один из спутников Бениовского вел дневник, в котором сообщает в гораздо более сдержанных тонах, что прием, оказанный путешественникам, был отнюдь не гостеприимным. Напротив, японцы недвусмысленно выразили свое отношение к чужеземцам: «они проводили рукой по горлу, давая понять непрошеным гостям, что всем — и хозяевам и гостям — перережут глотку, если чужестранцам позволят сойти на берег» [1].

Гавань, где бросил якорь Бениовский, находилась в юго-восточной части Японии, в Ава. Местный князь, стремясь поскорее избавиться от незваных гостей, снабдил их достаточным количеством риса, воды и соли. Он принял также и с оказией переслал сёгуну два письма на немецком языке, адресованных директору голландской фактории в Нагасаки [2]. Бениовский, выдававший себя на Камчатке за француза [3], на этот раз перевоплотился в офицера военно-морского флота ее величества римской (т. е. австрийской) императрицы и обратился к голландцам с просьбой о помощи на правах друга

---

[1] Кропф приводит этот эпизод, ссылаясь на Степанова, бежавшего с Камчатки вместе с Бениовским [123, 324].

[2] Копии шести писем Бениовского сохраняются в числе документов (номер 40/11488) в Государственном архиве в Гааге. Документ № 11710 (часть Dagregisteir о-ва Дэсима) содержит сообщение о реакции голландцев на эти письма. Я цитировал два из этих документов. Кондо Морисигэ дал перевод предостерегающего письма, правильный в общих чертах, но значительно измененный по сравнению с оригиналом [27, 70].

[3] Де Лессепс был удивлен холодным приемом, оказанным ему русскими властями, когда он прибыл на Камчатку. Оказалось, что такое отношение было вызвано «неблагоприятным впечатлением, которое произвел на русских характер и нрав нашей (французской) нации, о котором они судили по вероломству и жестокости Бениовского. Этот негодяй называл себя французом и действовал как настоящий вандал» [130, I, 156].

и союзника «могучих и славных Нидерландских Штатов». Очевидно, он надеялся на посредничество голландцев перед японским императором, с тем чтобы остаться в Японии на срок, достаточный для заключения какой-нибудь выгодной торговой сделки. Но все же через четыре дня после прибытия в Ава Бениовский внял угрожающим жестам местных жителей и отбыл отсюда. После краткой остановки у берегов соседней провинции Тоса он бросил якорь в Осима, к югу от о-ва Кюсю.

Из Осима Бениовский послал директору голландской фактории еще четыре письма. В трех письмах он благодарил за провиант, полученный от японцев в Ава и Осима. Четвертое, последнее и неизмеримо более важное послание получило впоследствии широкую известность в Японии как пресловутое «Предостережение Бениовского» и было метко названо «первым произведением, посвященным вопросам национальной обороны».

«Высокочтимые и благородные господа,
офицеры славной республики Нидерландов!

Жестокая судьба, долгое время носившая меня по морям, вторично привела меня в японские воды. Я сошел на берег в надежде, что мне, быть может, удастся встретиться здесь с вашими превосходительствами и получить вашу помощь. Я поистине весьма огорчен, что не имел возможности переговорить с вами лично, ибо располагаю важными сведениями, которые хотел вам сообщить. Высокое уважение, которое я питаю к вашему славному государству, побуждает меня поставить вас в известность, что в этом году два русских галиота и один фрегат, выполняя тайный приказ, совершили плавание вокруг берегов Японии и занесли свои наблюдения на карту, готовясь к наступлению на Мацума (Хоккайдо) и прилегающие к нему острова, расположенные на 41°38′ северной широты, наступлению, намеченному на будущий год. С этой целью на одном из Курильских островов, находящемся ближе других к Камчатке, построена крепость и подготовлены снаряды, артиллерия и провиантские склады.

Если бы удалось переговорить с вами лично, я рассказал бы больше, нежели то, что можно доверить бумаге. Пусть ваши превосходительства

примут те меры предосторожности, какие сочтете необходимыми, но, как ваш единоверец и ревностный доброжелатель вашего славного государства, я советовал бы по возможности иметь наготове крейсер.

На этом позволю себе отрекомендоваться и остаюсь, как следует ниже, вашим покорным слугой.

Барон Аладар фон Бенгоро[4],
армейский военачальник в плену.

20 июля 1771 года, на острове Усма.

P. S. Я оставил на берегу карту Камчатки, которая может сослужить вам пользу».

Вызывает недоумение, какую цель преследовал Бениовский, сообщая голландцам столь фальшивые сведения. В недостоверности их не может быть ни малейшего сомнения. Далекие от каких-либо агрессивных замыслов в отношении Японии, русские напрягали все усилия, чтобы сохранить свои тихоокеанские владения, состоявшие из небольшой колонии на Камчатке (где на складах была запасена главным образом водка), горсточки торговых людей на Курилах и цепочки небольших постов на Аляске, носивших иногда такие красноречивые названия, как «Залив Убийств». Бениовский, несомненно, знал действительное положение вещей, но любовь к правде никогда не входила в число его добродетелей. Может быть, он рассчитывал выслужиться перед голландцами, разоблачив перед ними вымышленный заговор русских, хотя трудно предположить, какую пользу он намеревался извлечь из этой затеи.

Как бы то ни было, Бениовский покинул Японию за месяц до того, как голландцы успели получить хотя бы первое из его писем, и потому лишился удовольствия наблюдать порожденное им смятение. Не имея возможности прочесть написанный по-немецки текст, японцы переслали письмо голландцам для перевода. Чтобы облегчить задачу установления личности загадочных иноземцев, власти доставили в Нагасаки также пару штанов и рубашку, которые продал в Тоса кто-то из матро-

[4] Выдавая себя за австрийского офицера, Бениовский в письме к голландцам принял этот германизированный вариант своего имени. Под этим же именем он был известен японцам.

сов Бениовского, но голландцы так и не смогли точно определить, какой же национальности был этот самозваный офицер Священной Римской империи. Высказывалось даже предположение, что корабль Бениовского — один из испанских галионов, шедших из Филиппин в Мексику, единственных европейских судов, пути которых проходили близко к японским водам.

В дальнейшем, на протяжении долгих лет, письмо Бениовского служило пищей для размышлений многих серьезных людей в Японии. В самом деле, благодаря его «предостережению» в Японии впервые совершенно по-новому были поставлены военные проблемы. В прошлом для Японии никогда не существовало угрозы извне, за исключением двух неудачных попыток монголов в XIII веке, и потому представления японцев об обороне сводились лишь к тем вопросам, которые возникали в междоусобных войнах, терзавших страну до установления мира в 1600 году. Внезапно обнаруженная угроза безопасности Японии со стороны иностранного государства требовала коренного изменения стратегии и служила серьезным аргументом в пользу усиления военных приготовлений.

Из-за атмосферы секретности, которой были окружены письма Бениовского, число сторонников укрепления обороны, вдохновленных его «предостережением», поначалу было невелико. Однако переводчики и голландцы, участвовавшие в переводе его письма, рассказывали его содержание заинтересованным людям в Нагасаки, сведения просочились, и этому невозможно было помешать. Хирадзава Кёкудзан (1733—1791), побывавший в 1774 году в Нагасаки в свите одного даймё, оставил первое японское сообщение об иностранном судне, семь лет назад приставшем к берегу в Ава. Хирадзава пишет, что из письма капитана корабля выяснилось, что он русский и получил приказ обследовать японские воды, так как русские готовятся напасть на Японию. Свои ошеломляющие признания капитан сделал из благодарности за провиант и дрова, полученные в Ава. «Потом он отбыл, и никто не знает куда» [83, 8].

Хирадзава вернулся в Эдо, а затем через три года отправился на Хоккайдо, очевидно, чтобы проверить правильность слухов о проникновении русских. Не часто случалось, чтобы образованные люди совершали путешествие на этот безлюдный, пустынный остров. Отпуги-

вал не только суровый климат, но и подозрительное, даже враждебное отношение ко всем пришельцам со стороны клана Мацумаэ, владевшего островом. Хирадзава, однако, встретили удивительно дружелюбно, главным образом, наверное, потому, что визит его был своего рода «литературной экскурсией», а не официальной инспекторской поездкой. Он рассказал хозяевам клана о страшном предостережении Бениовского, но они не разделили его тревог, будучи, как видно, твердо уверены в том, что храбрость японских воинов по-прежнему может с успехом противостоять огнестрельному оружию иностранцев [67, 29—33].

Другим посетителем Нагасаки, которого взволновало письмо Бениовского, был Кудо Хэйскэ (1734—1800), врач, приехавший в город в 1780 году для изучения голландской медицины. В Нагасаки он подружился с переводчиками, случайно познакомился даже с директором голландской фактории, который доверительно поведал ему множество государственных секретов. Так, например, Кудо узнал, что голландцы считают японцев очень плохими политиками, потому что они позволили русским постепенно завладеть всеми Курильскими островами. Тем не менее Кудо отнесся с недоверием к сообщению о русских посягательствах на Японию, высказав предположение, что голландские купцы нарочно распространяют подобные сведения, чтобы сохранить за собой торговую монополию. Рассуждая о столкновении между русскими купцами и чиновниками клана Мацумаэ, имевшем место несколько лет назад, Кудо писал: «Я не могу поверить, что Россия собирается воевать с нами. Не может быть, чтобы русское правительство придавало значение инциденту в Эдзо, который случился несколько лет назад. Скорее, по-моему, русские прослышали об изобилии драгоценных металлов на Эдзо и хотят торговать с нами» [30, 217].

Но все же обрести полное спокойствие Кудо не мог: его очень встревожило известие о визите Бениовского. Он писал: «Мы не знаем, что было на уме у Бениовского, когда он огибал Японские острова, обследуя нашу береговую линию, но факт остается фактом — он это сделал. Нужно детально расследовать все, что связано с этим событием» [30, 218]. Это предложение вместе с другими открытиями Кудо было изложено в его книге «Изучение сообщений о рыжих айну» (под «рыжими

айну» Кудо подразумевал русских), которую он завершил в 1781 году. Труд этот впоследствии привлек внимание Танума Окицугу, в те годы фактического диктатора Японии, и произвел на него настолько сильное впечатление, что он приказал клану Мацумаэ представить доклад о положении на севере. Руководители клана составили требуемый доклад в туманных и загадочных выражениях, надеясь удовлетворить правительство, не раскрыв при этом собственной военной слабости, но Танума отверг доклад и распорядился снарядить небольшую экспедицию на Эдзо, Курилы и Карафуто, чтобы получить информацию из первых рук.

Результаты этой экспедиции, состоявшейся в 1785—1786 годах, опубликованы в «Эдоском альманахе». Это краткий деловой отчет, отнюдь не подтверждающий мнение Кудо и других энтузиастов, превозносивших богатства Эдзо; напротив, здесь подробно рассказано о трудностях жизни в этом пустынном районе. Участники экспедиции подтвердили слухи о деятельности русских, но совсем не в той области, которой опасался Кудо. На острове Уруппу они встретили маленькую группу «рыжих айну», которые жили там уже шесть лет. Контраст между условиями, в которых жили эти одинокие люди, и слухами о «страшной русской угрозе», которые распространялись на родине японцев, заставил одного из участников экспедиции осведомиться у русских о дальнейшей судьбе Бениовского. «О, он отплыл в Америку с флотилией из восьми больших кораблей...» — ответил русский охотник [59, 304].

Ко времени возвращения экспедиции в Эдо Танума был уже не у власти, а его преемник, как оказалось, не испытывал интереса к сведениям, добытым участниками экспедиции. «Эдоский альманах», подобно многим полезным книгам, написанным в эти годы, был обречен пылиться в правительственных архивах. Однако результаты посещения Бениовского этим еще далеко не исчерпываются. В 1791 году вышла в свет книга Хаяси Сихэй (1738—1793) [5] «Военные беседы для морской страны» — самая значительная из книг, обязанных своим появлением тому волнению, которое вызвал визит Бениовского.

Из всех ученых XVIII века, занимавшихся «западны-

[5] Некоторые авторы читают фамилию Хаяси как «Рин», т. е. Рин Сихэй.

ми науками», Хаяси прославился больше всех еще при жизни — как благодаря значению своих трудов, так и из-за своей необычной судьбы. Современный читатель, возможно, отдаст предпочтение тем ученым «рангаку», которые посвятили себя исследованию европейской истории или искусства. То обстоятельство, что Хаяси занимался почти исключительно военными проблемами, говорит как будто не в его пользу. Однако с точки зрения приобщения Японии к западному миру его труды имеют исключительное значение.

Хаяси родился на севере Японии, родине многих наиболее бескомпромиссных японских мыслителей. Его интерес к европейской культуре вначале сводился всего-навсего к коневодству — он приехал в Нагасаки в 1775 году для изучения голландского опыта в этой области; однако вскоре он заинтересовался, не без влияния своего друга Кудо [80, 261], европейской культурой в более широком плане. Он еще дважды побывал в Нагасаки, новые идеи целиком захватили его, и он все более ощущал интеллектуальную изоляцию, в которой пребывала Япония. В 1782 году, после очередного визита в Нагасаки, он написал свою первую работу — географию Эдзо, Рюкю и Кореи. Хаяси считал, что все японцы, независимо от образования и имущественного положения, должны знать географию этих стран. Работа содержит ряд интересных положений, однако сейчас ее принято рассматривать как своего рода предшественницу знаменитых «Военных бесед для морской страны», которые начинаются следующими словами:

«Что означает „морская страна“? Это государство, которое не граничит с другими на суше, а со всех сторон окружено морем. Существуют определенные средства и способы обороны, подобающие морской стране, по самой своей сути отличные от способов обороны, о которых говорится в китайских военных трактатах, так же как и от тех способов ведения войны, обучение которым по традиции ведется в Японии в различных школах военного искусства...

Для Японии военная наука означает знание способов, с помощью которых можно отразить внешнюю угрозу,— вопрос жизненной важности в настоящее время. Ключ к такой обороне лежит в создании военно-морского флота. Существенная роль в обеспечении боеспособности военно-морского флота принадлежит пушкам.

Япония должна быть подготовлена как по части флота, так и по части артиллерии — такова ее настойчивая потребность в отличие от военных задач, стоящих перед такими континентальными странами, как Китай или Татария. Только после того как будет создан военно-морской флот, надлежит думать о военных приготовлениях на суше» [80, 7].

Для современного читателя вполне естественно и закономерно, что Япония, морская страна, нуждалась во флоте. Однако в те времена, когда Хаяси писал эти строки, Япония не имела не только ни одного военно-морского судна, но вообще ни одного корабля большого размера. Военная наука рассматривала способы ведения войны в горах и долинах внутри страны; тактика, которую изучали японцы, сводилась главным образом к правилам, изложенным в древних китайских трудах, таких, например, как знаменитый трактат «О военном искусстве» Сун Цзы. Вопросы, связанные с возможностью атаки неприятельского военно-морского флота, вообще не рассматривались в этих трудах, поскольку для Китая на протяжении всей истории главной проблемой было нарушение его сухопутных границ ордами полудиких племен. В Японии преклонение перед китайской наукой было так велико, что после уже полузабытой к этому времени попытки вторжения монголов никому и никогда не приходило в голову задуматься с военной точки зрения над тем фактом, что Япония со всех сторон окружена морем [6].

Чтобы противостоять традиционным ссылкам на китайскую науку, Хаяси считал необходимым дискредитировать Китай в глазах японцев. С этой целью он в своей книге пишет о китайцах как о потенциальных врагах Японии, а не как о носителях просвещения, каковыми их принято было считать в силу давних традиций. Маньчжурская династия, утверждал он, свела на нет добрые нравы китайского народа.

«Мне кажется вполне вероятным, что в будущем какой-нибудь маньчжурский правитель, воспользовав-

[6] Разумеется, я имею в виду — в оборонительном плане. До закрытия страны вооруженные японские корабли рыскали по всему Востоку. Слабость японского флота тревожила Хидэёси и действительно явилась одной из причин провала его корейских походов. Однако японские военные мыслители никогда не задумывались о возможности нападения на Японию неприятельского военного флота.

шись тем, что в стране царит мир, отважится на рискованную военную авантюру в надежде превзойти былые дерзания монголов. В этом случае китайцами будет руководить главным образом алчность, и, как бы великодушно ни вело себя правительство Японии, это их не смягчит. Не остановит их также отвага японских воинов, ибо атакующие армии их будут огромны» [80, 9].

Трудно сказать, рассчитывал ли Хаяси, что его аргументы подействуют; возможно, он хотел просто предостеречь своих соотечественников, по привычке полагающих, что китайцы в любых обстоятельствах будут вести себя благородно. Но главная угроза, неоднократно подчеркивает Хаяси, исходит от России.

«В последние годы Россия стала самой могущественной державой в Европе. Ее армия прошла победным маршем до самых отдаленных пределов Татарии, Сибири и даже Камчатки. Но к востоку от Камчатки нет земель, которые стоило бы завоевывать, вот почему имеются указания, что Россия обратила свои взоры на Курильские острова. Еще в 1771 году один авантюрист, по имени барон Мориц Аладар фон Бениовский, был послан из Московии на Камчатку, а оттуда в Японию, где он посетил различные гавани. Он наполовину обогнул Японию, исследуя глубину моря в разных портах. В особенности следует обратить внимание на его пребывание в провинции Тоса, где он оставил письмо главе голландской торговой фактории в Нагасаки. Причины, побудившие его прибыть сюда, вызывают отвращение и страх» [80, 9].

Хаяси допускал возможность нападения со стороны русских еще и потому, что был очень высокого мнения о европейской военной технике. В отличие от китайцев, полагавшихся в первую очередь на свою детально разработанную военную теорию, или от японцев, строивших свои расчеты на природной храбрости японских солдат и их ловкости в рукопашном бою, европейцы считали решающим фактором в войне огнестрельное оружие. Они изобрели много необычных видов оружия[7], в том

[7] Хаяси поместил в своей книге рисунок, изображающий «Lucht ship», который он видел в одной «Kriegsbook», т. е., очевидно, в каком-то голландском труде по военному делу. Он сообщает также о своем намерении построить воздушный корабль и испытать его, когда у него будет время.

числе воздушные корабли, предназначенные для того, чтобы наводить ужас на неприятеля [80, 45]. В особенности больших успехов добились европейцы в военно-морском деле: конструкция их кораблей была превосходной. Хаяси слыхал, что корабль Бениовского был «могучим, как маленькая крепость» [80, 19],— на наш взгляд, явно преувеличенная оценка небольшого галиота, которым командовал Бениовский. По мнению Хаяси, европейские корабли настолько превосходят китайские, что Японии негде учиться морскому делу, кроме западных стран.

Величие европейских стран, пишет далее Хаяси, обусловлено их «замечательными законами», благодаря которым им удается поддерживать у себя порядок и мир. «Бывает, что государства вторгаются на территорию соседних стран и стремятся удерживать эти завоевания в течение долгих лет, однако история не знает случая, чтобы солдаты одной и той же страны воевали между собой. Японии и Китаю еще предстоит достичь такого высокого уровня в своем развитии» [80, 11].

«Замечательные законы[8],— пишет Хаяси,— вдохновили европейцев также и на покорение отдаленных земель. Великая традиция изучения наук и всеобщее знакомство европейцев с астрономией и географией позволили им добиться осуществления своих замыслов, даже не прибегая к оружию. Япония не должна утешаться мыслью, что европейцы находятся слишком далеко, чтобы посягнуть на ее пределы. Пусть даже армии западных стран сами не смогут дойти до Японии — вполне возможно, что китайцы и маньчжуры, которые в последнее время все более дружественно относятся к европейцам, тоже введут у себя их „замечательные законы" и точно так же начнут стремиться к расширению своих владений. Если это случится, превосходящие силы Китая легко могут напасть на беззаботную, погруженную в спячку Японию» [80, 24—25].

Как же обезопасить себя от вторжения европейцев или китайцев, вдохновленных европейским примером? Япония должна создать собственную оборону. Каждый участок ее береговой линии должен быть укреплен морскими батареями, как это сделано в Нагасаки. По своей

[8] Что именно подразумевал Хаяси под выражением «замечательные законы» («мёхо»), сказать трудно. Возможно, христианство.

трудности задача может показаться на первый взгляд почти невыполнимой, однако в течение пятидесяти лет с ней можно успешно справиться. «Морской путь без малейших преград ведет прямо от Нихон-баси[9] к Голландии и к Китаю. Почему же оборонительные сооружения существуют только в Нагасаки?!» [80, 18]. Но прежде чем предпринять более решительные меры для вооружения страны, необходимо перевоспитать самурайство. В результате длительного мира самураи забыли воинское искусство и погрязли в пагубной роскоши. Нужно создать учебные заведения, в которых будут преподаваться как военные, так и гуманитарные дисциплины, ибо солдат, не овладевший литературой и философией, ничем не лучше варвара. Эти школы подготовят людей разносторонне образованных, хотя в прошлом таких людей было очень мало. Многие японские военачальники достигли славы, но только двое из них обладали достаточным знанием культуры, чтобы считаться подлинно выдающимися людьми: легендарный император Дзимму и Токугава Иэясу. Встречались, хотя и нечасто, такие люди и в истории Китая. Но превыше всех, кто сочетал таланты стратега с высоким знанием культуры, была русская императрица Екатерина, «распространившая свою добродетель и приумножившая свое могущество» [80, 242].

«Военные беседы для морской страны» — вклад Хаяси в дело решения военных проблем Японии — принесли их автору немало огорчений. Чтобы достать сумму, необходимую для печатания книги, ему, судя по всему, пришлось продавать карты собственного изготовления и зарисовки голландских кораблей [100, 33]. Первый том вышел в свет в 1787 году на родине Хаяси, в городе Сэндай. Публикация второго тома задержалась из-за разного рода трудностей, так что вся работа в целом была напечатана только четыре года спустя. Было изготовлено всего 38 экземпляров, но один из них по несчастной случайности попал в руки недруга. Хаяси обвинили в распространении ложных сведений и объявили преступником, опасным для государства. Через восемь месяцев после выхода книги он был арестован и отправлен в Эдо, в тюрьму. Этот злосчастный оборот

[9] Нихон-баси — название одной из главных улиц в г. Эдо (прим. пер.).

дела, наверное, не слишком удивил Хаяси — он отлично понимал, какая атмосфера его окружает. В предисловии к своей книге он писал:

«На протяжении веков преподаватели военных наук, поколение за поколением, строили все свои доктрины на древних китайских текстах, а это означает, что они полностью подражали китайцам и были совершенно неосведомлены, в чем суть подлинной обороны, необходимой морской стране. Я первый поднял этот вопрос. Я занимался им всесторонне, и в результате моих трудов родилась эта книга. Но мне известно, что рядовому человеку запрещено предавать гласности подобные факты, даже если он в них осведомлен; молчание считается признаком осмотрительности. Однако я отношусь к числу людей, которые не могут бездействовать, когда в чем-нибудь твердо убеждены; вот почему я пренебрег опасностью навлечь на себя недовольство властей. Без всяких прикрас я написал здесь, почему любой нарушитель, начиная с Бениовского, имеет возможность без труда напасть на Японию. Я написал эту книгу для того, чтобы поставить власти в известность о мерах, необходимых для обороны морской страны. Поэтому я и отважился обсуждать столь серьезный вопрос, несмотря на мое низкое звание и скудость талантов. Я сознаю, что далеко преступил пределы дозволенного и мне не избежать наказания. Но ведь важна не судьба автора, а только то, что он создал» [80, 11—12].

Хаяси был арестован по приказу Мацудайра Садабобу, главы Государственного совета, за то, что он опубликовал книгу, касающуюся вопросов государственной важности и призывающую к изменению существующих законов. Узнав об аресте, он сложил поэтический экспромт, первый из нескольких его знаменитых стихотворений, написанных в конце жизни: «Упадет ли с плеч моя голова или ей суждено уцелеть? Скоро придет весна...» [25, 125—126]. Хаяси провел шесть месяцев в заключении, прежде чем сумел ответить на этот вопрос. За это время он получил множество сочувственных посланий, ему даже предлагали устроить побег, но он стоически отверг все попытки уклониться от судебного разбирательства. Государственный совет пришел к выводу, что Хаяси — невежественный субъект, а дальнейшее расследование бесполезно, и постановил вернуть его в Сэндай, приговорив к заточению. Печатные

доски с текстом «Военных бесед» было приказано уничтожить.

После возвращения в Сэндай Хаяси получил разрешение жить в доме брата, в сравнительно сносных условиях, однако он впал в депрессию и ни в чем не находил утешения. Он принял псевдоним Рокумуан («Павильон шести „нет“») — по стихотворению, которое сочинил в эти дни: «У меня нет родителей, нет жены, нет детей, нет печатных досок, нет денег, нет ничего, что дарило бы радость». В таком подавленном состоянии он прожил еще год и скончался от горя.

Преступление Хаяси с точки зрения властей состояло не в том, что он отважился критиковать правительство, а в том, что он посмел обнародовать взгляды, которые считались опасными для внутреннего спокойствия государства [10]. «В Японии, так же как почти во всех странах Азии,— писал за сто лет до этих событий немецкий ученый Кемпфер,— свобода совести допускалась во все времена лишь до тех пор, пока она не вступает в противоречия с интересами светского государства» [118, II, 1]. Благодаря существованию подобной «свободы совести» Хонда Тосиаки, например, критиковал правительство гораздо более резко, чем Хаяси, но был достаточно осторожен и не публиковал свои рукописи. По сути, Мацудайра Саданобу был не против основных идей Хаяси, что подтверждается тем фактом, что впоследствии он приказал усилить береговую оборону и сам совершил инспекторскую поездку по восточному побережью [33, 167—169]. Просто он не мог оставить безнаказанной дерзость Хаяси, выразившуюся в открытой апелляции к народу с требованием поддержать его дело. Хотя сейчас нам не кажется чрезмерно жестоким наказание, наложенное на Хаяси, Мацудайра таким способом отбил охоту у других независимо мыслящих людей выступать публично со своими идеями (и, между прочим, невольно создал Хаяси славу, намного превосходящую славу его более осторожных современников).

Разумеется, неправильно думать, будто «Военные беседы» появились на свет исключительно благодаря визиту и письмам Бениовского, однако главные момен-

[10] Сэнсом пишет, что еще одним основанием для ареста Хаяси послужило его преступление, состоявшее в том, что он «доверил свои взгляды некоторым придворным, известным своей враждебностью к правительству сёгуната» [143, 226].

ты книги — возможность угрозы извне и необходимость морской обороны,— несомненно, появились в результате рассуждений Хаяси о цели загадочного появления этого авантюриста. Европейским вариантом «Военных бесед» можно, если угодно, считать «Памятную записку», посланную в июле 1776 года французским дипломатом Жаном-Бенуа Шерером французскому министерству иностранных дел [127, 440—443]. Согласно этому, по меньшей мере странному документу, в русском посольстве в Лондоне якобы проговорились об английских планах совместного англо-русского нападения на Японскую империю. Соединенным флотом обоих государств будет командовать капитан Кук, который встретится с русскими на Камчатке, куда он направится под предлогом поисков северного пролива. Россия, говорилось далее в «Записке» Шерера, обещала в случае успешных действий против Японии помочь британцам в войне против американцев, начавших борьбу за свою независимость, а Англия в свою очередь согласилась, если понадобится, помочь России и «развлечь немцев войной, для чего она использует своих союзников». Япония будет бессильна оказать сопротивление англо-русским завоевателям, потому что, как стало известно Шереру, почти все оружие в этой стране переплавлено на строительный материал. Единственный путь для предотвращения этого нападения — послать французский флот под командованием Бугенвиля, чтобы доставить оружие японскому императору, с помощью которого он сумеет отразить нападение иностранцев...

Читатель, вероятно, уже догадался об источнике, из которого Шерер почерпнул свою странную информацию. Это был не кто иной, как тот же Бениовский. Не удовлетворившись тем переполохом, который он произвел в Японии своим предсказанием о нависшей над японцами страшной русской угрозе, он теперь морочил головы видным европейским сановникам, рассказывая те же басни. Шерер, считавший себя в большом долгу перед Бениовским, выдвинул предложение, согласно которому Бугенвиль, отправляясь в плавание на Восток, должен был взять авантюриста на борт в Мадагаскаре, чтобы воспользоваться его глубокой осведомленностью в делах островной империи. Но французский министр иностранных дел граф де Верженн поставил под сомнение достоверность сведений, содержавшихся в документе, чем

лишил современных историков удовольствия читать страницы, рассказывающие о славном появлении французского флота в гавани Эдо на глазах у изумленных японцев с оружием для Японии на борту. Это было бы зрелище, поистине достойное Бениовского!

Возвращение пропавших без вести в море

В 1637 году был издан закон, запрещавший японским подданным уезжать за границу, а в случае отъезда — возвращаться обратно [75, VI, 568—569]. Это означало, что японцам запрещается знать о внешнем мире что-либо, кроме того, что допускалось правительством. До издания этого закона у японцев были цветущие колонии на Филиппинах и даже в таких отдаленных районах, как Ява или Сиам. Услугами японских торговцев широко пользовались азиатские государи, а также новоявленные европейские властители Востока. Но после запрещения заморской торговли и строительства больших судов, способных выдержать далекое плавание, за пределами Японии остались лишь отдельные разрозненные группы японских христиан, и очень скоро японцы утратили былое искусство мореходов.

Это не означает, однако, что японцы больше не совершали плавания между отдельными пунктами Японской империи. Хонда сообщает, что только с грузом риса в гавань Эдо ежедневно прибывало 90 судов. Еще большее число кораблей из сельскохозяйственных районов страны постоянно швартовалось в Эдо и в Осака. Но это были маленькие, плохо сконструированные суда, команда которых состояла из неискусных, несведущих моряков, да и сами капитаны забыли старые знания и еще не приобщились к новой науке — навигации. Часть кораблей неизбежно пропадала без вести в море во время тайфунов, другие терпели бедствие у отдаленных берегов. Хонда описывает безвыходное положение таких судов, унесенных штормом далеко в море.

«Даже после того как погода установится, моряки не знают, в каком направлении следует держать курс, и корабль беспомощно несется по воле волн. Наконец, прибегают к последнему средству — срезают пряди волос и приносят их в жертву богам и Будде. Потом бе-

рут несколько листков бумаги, пишут на них обозначение стран света, скатывают в шарик и кладут в ящик с дырой на крышке (это называется «тянуть жребий»). Обливаясь слезами, капитан и матросы горячо взывают к Будде и богам земли и неба, чтобы те указали им направление. Затем встряхивают ящик, ударяют по крышке. Когда одна из бумажек выскакивает, они подбирают ее, причем слезы радости застилают им взор, и они кричат, что это и есть направление, указанное богом и Буддой. После этого держат курс, указанный в бумаге, и окончательно пропадают в морском просторе» [85, 211—212].

Иногда течение Куросио уносило японские корабли к Камчатке, Алеутским островам и даже к западным берегам Северной Америки. Тропические штормы гнали другие суда далеко на юг, к берегам Аннама. Случалось, что попавших в беду моряков возвращали в Японию. Так, например, в 1685 году португальцы, пытаясь восстановить дружественные отношения с Японией, доставили в Нагасаки двенадцать японских моряков, потерпевших кораблекрушение близ Макао. Поначалу власти подозрительно отнеслись к появлению португальцев, но затем, осмотрев их судно и убедившись, что на нем нет предметов религиозного культа или товаров, предназначенных для продажи, приняли спасенных моряков и вознаградили иностранцев тридцатью мешками риса. Но старое недоверие к католической религии оставалось в силе. Португальцам было приказано больше никогда не появляться в Японии. Таким образом, попытка восстановить торговые отношения потерпела провал [75, VI, 594—598]. Сохранившие торговые привилегии китайцы и голландцы тоже не раз возвращали потерпевших кораблекрушение японских моряков, возможно в надежде заслужить благодарность японского правительства.

Но большинство унесенных в море навеки расставалось с родными берегами, либо погибая от рук враждебно настроенных туземцев, либо оставаясь жить среди них и растворяясь в их среде. О подобных случаях у нас нет, разумеется, точных сведений, но некоторые из моряков, суда которых потерпели крушение у берегов Камчатки, впоследствии стали очень известны. События эти относятся к концу XVII века. В 1697 году Владимир Атласов, первооткрыватель Камчатки,

наткнулся в поселке местных жителей на японского моряка по имени Дэмбэй. Сперва Атласов не понял, к какой национальности принадлежит незнакомец, очевидно из-за трудностей общения с ним. По его рассказам, «пленник, который прибыл морем в маленьком „бусси“ (вид китобойного судна), говорил на особом языке. Он носил небольшие усы, волосы у него были черные, и лицом он напоминал грека». Атласов рассказал далее, что этот незнакомец заплакал, увидев у русских икону, чем дал понять, что в его стране имелись такие же иконы. Этот человек «прожил с Володимиром два года и за это время немного научился говорить по-русски. А поскольку до прибытия Володимира он уже прожил два года среди коряков, то сперва разговаривал с ним через переводчика на их языке. Он сказал, что он индеец и что у него на родине очень много золота и целые дома построены из фарфора. А короли их живут в золоченых и посеребренных дворцах. Володимир взял у коряков серебряную монету весом около $^1/_6$ унции, и незнакомец подтвердил, что эта монета его страны. Он рассказал, что у них, в Индии, одежду не подбивают ни соболями, ни каким другим мехом, а изготовляют ее из разных тканей и простегивают ватой. Атласов рассказал, что этот чужеземец путешествовал с ним шесть дней от Анадыря до Лиски, где он заболел и ноги у него опухли, по каковой причине отправили его обратно, на Анадырское зимовье. Он говорил, что чужеземец был умен и хорошего воспитания» [150, 462].

Подлинная национальность Дэмбэя была наконец установлена, и его отправили в Санкт-Петербург, где в январе 1702 года он был представлен Петру Великому. Царь расспросил его о Японии и впоследствии приказал хорошенько обучить Дэмбэя русскому языку, чтобы он мог объяснить японскую грамматику «четверым или пятерым недорослям» [92, 229]. Три года спустя была основана Школа японского языка, существовавшая, несмотря на все превратности судьбы, до 1816 года, когда больше не удалось отыскать хотя бы одного желающего изучать японский язык [77, 791].

Поскольку было ясно, что, если Дэмбэю не найти замену, школа не сможет существовать после его смерти, отдали приказ: если какой-нибудь японский корабль потерпит крушение у берегов Камчатки, отправить одного из японцев в Санкт-Петербург. На протяжении по-

следующих ста с лишним лет крушения случались достаточно часто, чтобы школа не оставалась без учителя. Этих потерпевших кораблекрушение учителей сперва в течение нескольких лет обучали русскому языку, затем крестили, давали русское имя и женили, после чего они приступали к исполнению своих академических обязанностей.

Нетрудно представить себе, какая тревога охватила японское правительство, когда оно узнало (в 1781 году), что в России создана школа для изучения японского языка. «Иностранцы открывают тайны Японии!» — таков был вопль, раздававшийся повсеместно. Между тем оснований для подобной паники почти не было — школа, несомненно, была самым непродуктивным учебным заведением, когда-либо существовавшим на свете. Когда Кодаю, самого знаменитого из всех потерпевших бедствие моряков, попросили проверить и исправить словарь, составленный одним из его предшественников, он с удивлением обнаружил, что большинство слов было жаргонных и к тому же диалектных [24, 259—260]. Учеников, разочарованных неумелым преподаванием, приходилось удерживать в школе силой, но ничто не могло заставить их учить японский язык. В тех редких случаях, когда возникала необходимость в их услугах, оказывалось, что японский язык, который усвоили окончившие школу переводчики, абсолютно невозможно понять, да и как могло быть иначе, если русский человек пытался говорить языком неграмотного японского рыбака. Незадолго до того как школу закрыли окончательно, выяснилось, что двое ее учеников, изучавших японский язык в течение девятнадцати лет, все еще незнакомы с элементарными основами языка [11].

Школа японского языка возникла не для того, чтобы, как опасались японцы, облегчить вторжение в Японию. Скорее это было проявлением характерной для XVIII века страсти к открытиям, которая заставляла правительства и отдельных людей тратить огромные суммы на путешествия, знакомство с новыми странами. Так, например, когда капитан В. Р. Броутон совершил плавание вокруг Эдзо и вдоль восточного побережья

[11] Слабость познаний русских переводчиков, возможно, преувеличена. Кудо Хэйскэ и Сато Гэнрокуро сообщают о переводчиках, потомках потерпевших кораблекрушение моряков, которые говорили и даже писали по-японски [см. 56, 213—214, 303].

Японии (повергнув в великую тревогу обитателей тех мест), это было сделано не ради завоевания новых колониальных владений для Англии, а потому, что Броутон был «мореплаватель, горевший желанием расширить пределы географии и знавший, что в любой другой части Тихого океана уже почти ничего не осталось делать» [101]. Японцам было трудно понять это бескорыстное стремление к географическим открытиям. И в самом деле, в скором времени на смену ему пришли новые идеи XIX века, как это явствует из записок капитана Крузенштерна, писавшего после путешествия 1803—1804 годов: «Что касается овладения местностью Анива (мыс и залив в юго-восточной оконечности Сахалина), то это может быть сделано без малейшего риска, поскольку японцы благодаря полному отсутствию у них какого-либо оружия вряд ли помыслили бы о сопротивлении... Я убежден, что эта победа досталась бы нам без единой капли крови» [124, II, 67—68].

Когда Кодаю появился при санкт-петербургском дворе, интерес русских к Японии почти совершенно угас. В последний раз русские организовали довольно значительную экспедицию в район Японии в 1738—1739 годах под командованием капитана Мартина Шпанберга. Он получил инструкции «преодолеть косную азиатскую необщительность» японцев, для чего вернуть в Японию любого японского моряка, потерпевшего кораблекрушение у берегов Камчатки, а также проявить дружелюбие всеми другими способами, однако его кратковременный контакт с японскими чиновниками не дал никаких положительных результатов [109, 220—221]. В годы, последовавшие за экспедицией Шпанберга, нет-нет да и вспыхивал интерес к Японии, что спасало от гибели Школу японского языка, но ко времени царствования Екатерины II ничто уже не привлекало внимания к островной империи — ни желание внести поправки в существующие географические карты, ни надежды заполучить нового торгового партнера. Территориальные приобретения, о которых упоминает Крузенштерн, тоже, как видно, в соображение не принимались.

Центральным моментом в русско-японских отношениях в конце XVIII века был приезд в Россию, а затем возвращение на родину Кодаю, капитана корабля из Исэ, чья судьба будет описана ниже. Первые японцы, очутившиеся в России, были несчастные, заурядные

люди, сперва ошеломленные непривычной обстановкой, в которой они очутились, а затем почти без следа растворившиеся в ней. В отличие от них Кодаю обладал живым, развитым умом и ярко выраженным индивидуальным характером, который позволил ему сохранить себя в необычной обстановке, окружавшей его. Вдумайтесь в описание, данное ему Лессепсом, французским путешественником, который встретил Кодаю на Камчатке в 1788 году:

«В его внешнем облике нет ничего странного, и наружность его даже приятна; глаза у него не раскосые, как у китайцев, нос прямой, ровный, и он часто бреет бороду. Ростом он около пяти футов и довольно хорошего телосложения.

Он занимает среди своих соотечественников высокое положение, но это обстоятельство в значительно меньшей мере характеризует его, чем живость его натуры и мягкость в обхождении... Непринужденность, с какой он входит в дом губернатора и других особ, показалась бы у нас дерзкой или в крайнем случае грубой. Он тотчас же располагается со всеми удобствами и садится на первый же предложенный стул. Он просит за столом, чего хочет, или сам берет то, что находится недалеко от него...

Он обладает большой понятливостью и с завидной быстротой воспринимает любую новость, которую вы хотите ему сообщить. Он очень любопытный и внимательный наблюдатель. Я был уверен, что он ведет подробнейшую запись всего, что видит и что с ним произошло. Его ответы отличаются остроумием, он держит себя естественно и приветливо. Он не отличается ни малейшей скрытностью, напротив, высказывает с предельной откровенностью свое мнение о каждом...» [130, 1, 211—215].

Лессепс сообщает также, что остальные японские моряки относились к Кодаю с неизменным почтением. Можно предположить, что он был для них постоянным источником душевной энергии во время испытаний, выпавших на их долю.

В январе 1783 года судно Кодаю «Синсё-мару» вышло из его родной гавани Исэ, направляясь с грузом риса в Эдо[12]. В первую же ночь жестокий шторм снес

[12] Путешествие описано у Хаяси Фукусай [81, VIII, 134].

судно далеко с курса. Семь месяцев маленькое суденышко носилось по океану, и морякам, наверное, казалось, что им уже не суждено увидеть землю, как вдруг туман внезапно рассеялся и перед ними открылся остров Амчитка в Алеутской гряде [13].

Обрадованные люди поспешили сойти на берег, плохо отдавая себе отчет в том, что этот унылый остров с его вечным холодом и туманом окажется для них худшей тюрьмой, чем корабль «Синсё-мару».

На Амчитке они прожили четыре года. Одиночество японских моряков разделяли два русских охотника, промышлявшие пушным зверем, и небольшое число местных жителей. Наконец пришло русское судно, чтобы отвезти меха на Камчатку, и было решено взять с собой оставшихся в живых японцев. Из шестнадцати человек команды к этому времени осталось только девять.

Камчатка оказалась ненамного лучше Амчитки. Японцы вели там убогое существование, страдая от голода и других, еще худших бед. В те времена эта русская земля была одним из самых унылых мест на свете, заслужившим такую дурную славу, что «даже одно упоминание о Камчатке всегда вызывало ужас и отвращение. Ее считали средоточием голода, холода, нищеты, короче говоря, всех несчастий, ниспосланных человеку» [124, II, 219]. Еще трое японцев умерли на Камчатке прежде, чем остальных перевезли в Сибирь, в город Иркутск, где с 1753 года находилась Школа японского языка [14].

Очень может быть, что, если бы не энергия Кодаю, японцам так и пришлось бы провести остаток своих дней в Сибири. Три раза Кодаю настаивал на разрешении возвратиться в Японию. Его послания вызвали лишь ответ, гласивший, что императрица желает, чтобы японцы обосновались в России и стали купцами; она сама снабдит их деньгами для этой цели. Однако Кодаю не обескуражил такой ответ. Он подружился с Эриком Лаксманом, финским ученым, жившим в Иркутске, и вызвал в нем сочувствие к горестному поло-

[13] Кодаю вышел в плавание в декабре 1782 г. из гавани Сироко в провинции Исэ (на восточном побережье о-ва Хонсю) и оказался у о-ва Амчитка в августе 1783 г. (прим. ред.).

[14] Школа японского языка была организована в Иркутске в 1794 г. как отделение «Навигацкой школы» (прим. ред.).

жению японцев. Лаксман согласился сопровождать пятерых оставшихся в живых моряков в Санкт-Петербург и обратиться там к императрице с прошением о разрешении возвратиться в Японию [15]. Японцы были в восторге от этих планов, но как раз в это время двое из них заболели так тяжело, что не могли отправиться в путешествие. Решив, что они умирают, оба приняли русскую веру. Впоследствии Кодаю пояснил:

«Когда в России умирают люди, не приобщенные к учению церкви, их не хоронят в освященной земле и обращаются почти как с мертвым скотом. По этой причине, когда Синдзо тяжело заболел и был уверен, что умирает, он обратился в русскую веру. Затем, к его великому удивлению, он выздоровел и горько сожалел, что не сможет вернуться со мной в Японию» [24, 254] [16].

Кодаю, два его спутника и Лаксман покинули Иркутск в январе 1791 года и ехали день и ночь, спеша как можно скорее добраться до Санкт-Петербурга [17]. Но незадачливым морякам суждено было пережить еще одно испытание: через три дня после приезда в столицу Лаксман внезапно тяжело заболел и три месяца был прикован к постели. Кодаю всецело посвятил себе уходу за своим благодетелем, к которому искренне привязался. «И так получилось,— говорил он,— что я не думал больше о нашем прошении...»

Только в октябре того же года Кодаю удостоился аудиенции у императрицы. К этому времени он стал уже хорошо известен петербургскому высшему обществу. Со всех сторон на него сыпались подарки и приглашения; все хотели видеть японца, тем более такого занимательного. Кодаю принимал эти знаки внимания с дружелюбием и достоинством, полностью войдя в свою новую роль «благородного дикаря». Некоторые придворные, более практичного склада, стали подумывать и о выгодах, которые могла бы принести торговля с Японией, но сама Екатерина поначалу относилась с крайним недоверием к таким прожектам. Только после

[15] На самом деле роль Э. Лаксмана была более значительна, так как он явился инициатором снаряжения русского посольства в Японию (прим. ред.).

[16] Синдзо, получивший имя Николая Колотыгина, был известен Клапроту, который в 1805 г. обсуждал с ним вопросы перевода [24, 254].

[17] В Петербург с Э. Лаксманом прибыли пять японцев (прим. ред.).

встречи с Кодаю[18], выслушав аргументы Лаксмана, говорившего о больших коммерческих выгодах, которые может доставить удачный случай — возвращение на родину Кодаю, Екатерина переменила мнение[19]. В 1792 году она подписала приказ губернатору Сибири, в котором повелевала возвратить Кодаю и его двух спутников в Японию, действуя согласно «Памятной записке» Лаксмана. Она распорядилась, чтобы в экспедиции Лаксмана участвовали несколько купцов, и указала, какие подарки японским властям должен послать иркутский губернатор от своего имени. Возможно, императрица не хотела, чтобы ее имя упоминалось в непосредственной связи с этой миссией, опасаясь, что японцы могут ответить отказом. Поэтому она приказала, чтобы экспедицией командовал офицер невысокого ранга.

13 сентября 1792 года корабль «Екатерина» под командованием лейтенанта Адама Лаксмана, сына друга Кодаю, покинул дальневосточные берега, имея на борту трех японцев. 17 октября судно прибыло в гавань Нэмуро на острове Эдзо, и Лаксман отправил на берег письма, написанные по-русски и по-японски, в которых излагались причины его визита. Появление непрошеных гостей повергло местные власти в невероятное смятение; перепуганные, они запросили Эдо, как быть. Тем временем Лаксману оказали гостеприимную встречу, он даже получил приглашение пользоваться ванной самого губернатора.

Когда Мацудайра Саданобу получил письма Лаксмана, он растерялся [33, 164—167]. Несмотря на некоторые орфографические ошибки, смысл этого написанного по-японски послания был достаточно ясен: русские намеревались проследовать в Эдо, чтобы начать там торговые переговоры. Как истый конфуцианец, Мацудайра решил действовать, опираясь на исторический прецедент. Последние попытки со стороны европейских держав добиться торговых привилегий в Японии были сделаны Англией в 1674 году [118, III, 341—360] и Португалией в 1685 году. И Англии и Португалии было от-

[18] Указ иркутскому генерал-губернатору И. А. Пилю «об установлении торговых сношений с Японией» был подписан Екатериной II 13 сентября 1791 г. до ее свидания с Кодаю (прим. ред.).

[19] Полный отчет о роли Лаксмана в возвращении Кодаю и текст указа Екатерины II приведены у Лагуса [125, 227—235].

казано: англичанам — потому что их королева была португалка, португальцам — потому что их ненавидели как источник христианской ереси. Но что касается русских, не могло быть и речи о каком-либо их союзе с Португалией, да и русская разновидность христианства, по всей видимости, была безвредной. Больше того, Мацудайра по достоинству оценил великодушие русских, возвративших на родину унесенных в море японских моряков. Он понимал, что в этом случае их поведение было безупречным. Он запросил мнение троих советников. Мнения разошлись. Один считал, что нужно принять потерпевших бедствие моряков и затем велеть русским немедленно покинуть Японию. Другой — что русским нужно предложить вести торговые переговоры в Нагасаки. И наконец, третий предлагал открыть остров Эдзо для торговли [14, 1367].

В конце концов Мацудайра нашел подходящий прецедент в прошлом. В 1727 году король Камбоджи прислал подарки сёгуну и просил разрешения открыть торговлю. Подарки были отвергнуты, но камбоджийцам разрешили посетить гавань Нагасаки [14, 1369]. Мацудайра счел, что предложения русских достаточно похожи, чтобы опереться на этот пример; это давало ему возможность обращаться с русскими и по закону, и с соблюдением подобающих правил вежливости. Если русские, подобно камбоджийцам, не захотят продолжить свои коммерческие усилия, они по крайней мере не будут оскорблены отказом. Если же они захотят добиваться разрешения на торговлю в Нагасаки, будет еще время подумать, пока они туда доберутся... Лаксмана известили, что ему надлежит обратиться со своей просьбой в Нагасаки — обычное место торговых сделок с иностранцами. Русский посланец получил документ, разрешающий ему посетить эту гавань; его предупредили, что благоприятный ответ не гарантирован, но все же весьма возможно, что, если он немедленно направится в Нагасаки, соглашения удастся достичь[20].

[20] Мнения японских ученых расходятся по вопросу о том, насколько успешной была экспедиция Лаксмана. Одни считают, что он почти открыл Японию для русской торговли; другие утверждают, что разрешение посетить Нагасаки было не более чем вежливой маскировкой традиционной консервативной политики японского правительства. Сам Лаксман был удовлетворен результатами экспедиции, и Екатерина II разрешила ему включить в семейный герб изображение японского меча.

Лаксман, однако, не захотел превышать пределы своих полномочий и решил вернуться в Россию за дальнейшими указаниями [21].

Пока длились эти переговоры, трое японцев с тоской ожидали дня, когда им разрешат вернуться домой. Вначале Лаксман отказался расстаться с ними, пока его не примут в Эдо. Он вынужден был уступить, когда правительство разъяснило, что, если японских моряков немедленно не отпустят, ему придется везти их с собой обратно в Россию. К этому времени один из японцев умер от цинги.

Итак, русский корабль ушел, и вернувшийся на родину Кодаю снова оказался в центре внимания. Его вызвал сам сёгун. Сёгун рассмотрел подарки и книги, привезенные из России, и расспросил о жизни Кодаю в этой стране. Судя по неожиданным и часто неоправданным вопросам, которые задавал сёгун, ему больше хотелось показать собственную осведомленность в делах России, чем узнать нечто новое от Кодаю. Так, он спросил: «В одной из башен московского замка имеются большие часы. Видел ли ты эти часы?» Такие же вопросы были заданы о статуе Петра Великого и о знаменитой московской пушке, после чего неожиданно следовал вопрос: «Приходилось ли тебе видеть верблюда?..» [141, 37—39].

Запись бесед между сёгуном и Кодаю вел Кацурагава Хосю, известный врач, обучавшийся в свое время у шведского ученого Тунберга. Неудовлетворенный отрывочным характером расспросов сёгуна, Кацурагава решил более эффективно использовать знания, приобретенные Кодаю. День за днем он расспрашивал бывшего капитана о каждой мелочи из того, что довелось ему увидеть и пережить в России. Так, например, в девятом томе его Записок содержатся сведения о санях, портшезах, судах, военном обмундировании, музыкальных инструментах, серебряных и лакированных изделиях, книгах и книгопечатании, песочных часах, компасе, бильярде, зонтиках, шахматах, изразцах, стекле, мыле и о многих других вещах.

Некоторые сведения, которыми наверняка распола-

[21] Уполномоченные сёгуна передали А. Лаксману лист с разрешением приходить в Нагасаки одному русскому кораблю, что было вполне основательно понято в Петербурге как согласие на начало торговых отношений (прим. ред.).

тал Кодаю, отсутствуют в книге Кацурагава. Так, например, известия о Французской революции, несомненно, успели достичь слуха Кодаю, пока он ждал в Санкт-Петербурге аудиенции у Екатерины, но никаких упоминаний об этом событии в книге нет — либо потому, что Кацурагава попросту не догадался спрашивать о событиях такого рода, либо потому, что предпочел не включать такие опасные — в потенции — высказывания в свои Записки.

Но в тех пределах, которыми он сам себя ограничил, Кацурагава проделал поистине замечательную работу. Ему удалось воссоздать на основе воспоминаний Кодаю самую вразумительную картину жизни европейского государства, когда-либо ранее существовавшую в Японии. Еще большего уважения заслуживает наблюдательность Кодаю; ничто мало-мальски примечательное в России, кажется, не ускользнуло от его взора. Однако, едва его повествование было закончено и продемонстрировано умение писать по-русски, он стал, по-видимому, никому больше не нужен. Конечно, люди интересовались тем, что ему суждено было пережить, но правительство опасалось, как бы он по неосторожности случайно не рассказал о таких вещах, которые лучше было бы хранить в тайне. Кодаю назначили щедрую пенсию в награду за привезенную информацию, разрешили жениться по собственному выбору, но приказали удалиться в имение сёгуна. Там, фактический узник, он прожил до самой смерти в 1828 году (он умер в возрасте 77 лет), занимаясь мирным трудом садовника [23, 149—152].

В изолированной от мира Японии возвращение одного из ее граждан из-за границы было событием достаточно заметным, чтобы вызвать дискуссию на долгие годы. Рассказы Кодаю способствовали тому, что страх перед русским продвижением на юг сочетался (но не сменился!) с безудержным восхищением Екатериной II и ее правлением. Мацудайра и другие высокопоставленные сановники с нетерпением ждали, когда корабль Лаксмана появится в Нагасаки. Казалось, скоро начнется новая эра, возвещающая конец вековой изоляции Японии. «Почему,— недоумевали японцы, по мере того как проходил год за годом,— почему русские не вернулись?» Они полагали, что вопросы торговли между обеими странами имели для русских такое же важное зна-

чение, как и для них самих. Но двор в Санкт-Петербурге не возлагал больших надежд на коммерческие выгоды от торговли с Японией. Кроме того, события неотложной важности, происходившие гораздо ближе к дому, требовали самого пристального внимания. Отголоски Французской революции и появление Наполеона на исторической арене ощущались в России так остро, что второстепенные вопросы торговли с Японией отошли на задний план.

Только в 1804 году русские воспользовались разрешением, данным Лаксману. В октябре этого года корабль капитана Крузенштерна «Надежда» появился в гавани Нагасаки с предложением начать торговлю[22]. Шесть месяцев пришлось русскому послу ожидать ответа, пока руководители государства спорили в Эдо о том, какой политический курс следует выбрать. Мацудайра Саданобу, к этому времени уже лишившийся власти, пытался убедить правительство вступить в деловые отношения с русскими, и большинство просвещенных людей того времени разделяли его мнение. Лишь спустя несколько месяцев реакционное правительство сёгуна решило отвергнуть предложение русских. Это решение вызвало резкие голоса протеста. По мнению некоторых авторов, с иностранным послом обошлись позорно, даже бесчеловечно. «Русские вправе думать, что мы скоты!» — заявил Сиба Кокан [65, 472].

Трудно дать точную оценку тем последствиям, которые были вызваны к жизни главными событиями конца XVIII века: «предостережением Бениовского» и возвращением Кодаю — этим своеобразным вызовом, брошенным Японии из-за рубежа.

Страна по-прежнему осталась закрытой для иностранцев, а официальная политика если и изменилась, то стала разве лишь еще более реакционной. Но все же некоторые изменения политического характера произошли: развитие общественной мысли в стране получило интенсивный толчок. Из перемен можно отметить создание в 1799 году прямого контроля сёгуната над островом Хоккайдо и учреждение правительственного магистрата (бугё) в Хакодатэ. Двум северным кланам было приказано защищать Хоккайдо, Курилы и Саха-

[22] И. Ф. Крузенштерн вошел в гавань Нагасаки 26 сентября 1804 г. (прим. ред.).

лин. Правительство снарядило специальные экспедиции для изучения этих районов.

Движение «рангаку» стремилось главным образом ознакомить Японию с научными достижениями Запада. Контакты с Россией заставили Японию осознать, что ее изоляция может быть нарушена, и дали новый толчок движению за превращение Японии в государство, в техническом и военном отношении не уступающее государствам Европы. Однако все просьбы о переменах разбивались об упорный консерватизм правительства. Чтобы разрушить жесткую конфуцианскую структуру токугавской Японии, понадобилось гораздо более мощное и неодолимое давление извне.

Глава IV

ПРИЗЫВ ЗАПАДА

Первые ученые «рангаку» доказали ценность «голландской науки». Следующее поколение ученых подвергло сомнению претензии Китая считаться центром мира, и, наконец, в конце XVIII века появились люди, ценившие Европу так высоко, что видели в ней образец для подражания во всех сферах человеческой деятельности. Европа была для них той частью света, где в результате тысячелетней цивилизации все поняли безрассудство войн, где люди жили в роскошных домах, не опасаясь ни пожаров, ни грабежей, и где правители всецело посвящали себя заботам о вящем благоденствии своих подданных. Такое представление о жизни в Европе XVIII века способно вызвать у нас улыбку, Вольтер наверняка бы засмеялся, однако оно находилось не дальше от реальности, чем изображение мудрых персов или китайцев у европейских авторов XVIII века. И там и здесь подобные измышления при описании далеких стран преследовали одну и ту же цель: восхваляя достойные подражания обычаи и нравы малоизвестных чужеземных народов, привлечь внимание к недостаткам у себя дома и тем самым пробудить стремление к прогрессу и обновлению.

Но прежде чем подвергнуть проверке бесспорные достижения Запада, сторонникам западной цивилизации нужно было доказать, какую великую родословную имеют западные страны. Европейские авторы с восхищением писали о древности Китая, история которого

теряется в глубине веков. Но японских поклонников европейской науки не удовлетворяла ссылка на «глубь веков». Многие из них стремились точно указать, насколько Европа старше Китая. «Какое из государств мира впервые стало цивилизованным?» — спрашивал Хонда Тосиаки и отвечал: Египет, цивилизация которого насчитывает 6000 лет. Китай же, добавляет он, насчитывает всего около 3800 лет, а Япония может похвастаться всего лишь какими-нибудь полутора тысячами лет со времени основания страны императором Дзимму Тэнно[1]. Вполне естественно, заключает он, что такие молодые страны, как Япония и Китай, не могут обладать столь совершенным устройством, какого Европа достигла уже давным-давно.

Японские ученые самым точным образом датировали основание Голландии; незнакомые с христианским происхождением европейской хронологии, они полагали, что 1787-й или любой другой год указывает число лет, прошедших со времени этого события[2] [40, 454]. Правда, Хонда, несмотря на все свое увлечение Голландией, не верил, что эта страна такая уж древняя. Западные даты, уточнял он, ведут отсчет с рождения гуманного и деятельного римского императора по имени Александр, которому среди множества прочих замечательных достижений принадлежит создание календаря.

Но и помимо вопроса о датировке, которой придерживались увлекавшиеся Европой ученые для доказательства собственных теорий, проблема древности Запада всегда выступала на первый план, когда нужно было доказать его превосходство над Востоком во всех областях жизни. Сиба Кокан заявлял, что самая старая страна в мире — Германия. «Основание Японии — дело очень недавнего времени,— пишет он.— Вот почему наука здесь так неразвита, а мышлению так не хватает глубины» [65, 461]. Хонда выражал сожаление, что Япо-

[1] Любопытно, что Хонда приводит цифру всего в 1500 лет со времени императора Дзимму. Эта дата удивительно близка той, которой придерживается современная наука. Согласно же традиционной датировке, со времени основания страны должно было бы пройти почти 2500 лет.

[2] Боксэр приводит сообщение Хаяси Сихэй, относящего основание голландского государства к 6-му году н. э. [98, 171]. Единственным японцем, полностью понимавшим европейскую систему летосчисления, был, по-видимому, Миура Байэн, посетивший Нагасаки в 1778 г. [см. 38, 1064].

ния игнорирует обычаи Запада, отдавая предпочтение Китаю, хотя на создание любого европейского института ушло целых 6000 лет. Для него Япония была «изолированным маленьким островом», небольшим государством, не имеющим ни по-настоящему древней истории, ни настоящей науки. Пришло время воспринять наконец обычаи «старших стран» — стран Европы.

Аргумент «Мудрость приходит с возрастом» был хорош, хотя в данном случае не всегда убедителен. Гораздо лучшим доводом в устах всех сторонников Запада была ссылка на утилитарную пользу европейских традиций. Западную письменность (или архитектуру, или календари) объявляли более удобными и эффективными и потому более желательными, чем их японские эквиваленты. Еще одним аргументом в пользу обычаев Запада было то, что они, судя по всему, способствовали процветанию европейских стран и, следовательно, должны быть приняты и в Японии. Однако, несмотря на то что эти доводы были убедительнее, чем ссылки на бóльшую древность цивилизации, их тоже нельзя было считать полностью неопровержимыми, и тогда, как на последний аргумент, снова можно было сослаться на шесть тысяч лет европейской цивилизации.

Сражение за признание благотворности европейских знаний велось учеными «рангаку» и их сторонниками почти во всех сферах научных знаний. Ниже будут рассмотрены некоторые области, вокруг которых шли наиболее горячие споры, а также взгляды, порожденные этими спорами, в первую очередь взгляды двух выдающихся сторонников Запада — Сиба Кокан (1738—1818) и Хонда Тосиаки (1744—1821).

Живопись

Ни в чем не сказывалось так отчетливо новое отношение к Западу, как в области живописи. Хотя во время пребывания португальцев в Японии было создано некоторое количество картин в западном стиле, главным образом на религиозные темы, влияние этих первых опытов было ничтожно, и в XVIII веке техникой европейской живописи нужно было овладевать заново. Западные принципы перспективы были впервые использованы граверами, в особенности Окумура Масанобу

(1686—1764), в гравюрах «укиёэ», но скорее из композиционных соображений, чем ради достижения высот реалистического искусства, что стало впоследствии главной целью. В середине XVIII века Маруяма Окю (1732—1795) основал школу живописи, которая тоже использовала некоторые приемы европейской живописной техники, однако нововведений Масанобу или Окю было недостаточно, чтобы считать этих художников живописцами европейского стиля; неискушенный критик вряд ли заметит что-нибудь специфически неяпонское в их работах.

Первым художником, писавшим в подлинно европейской манере, был Хирага Гэннай (1729—1780), талантливый, эксцентричный чудак, любивший сочинять книги непристойного содержания. В 1753 году Хирага побывал в Нагасаки, куда он приехал, чтобы изучать европейскую живопись; но вскоре его интересы вышли далеко за пределы одного лишь искусства. Сиба Кокан сообщает, как Хирага, восхищенный какой-то голландской книгой по зоологии, продал все свои вещи, включая постельные принадлежности, чтобы приобрести эту книгу [165, 403][3]. Хирага был видным минераловедом, он стал одним из первых людей в Японии, понявших действие электричества, и первым создателем асбеста (1764). Хотя Хирага выступал то как драматург, то как прозаик, то как автор политических трактатов, то как знаток горного дела и гончар, наибольшей известности он, возможно, достиг в области живописи, причем не столько благодаря высокому художественному уровню своих произведений, сколько в силу влияния, которое он оказал на художников младшего поколения.

Первый успех в качестве учителя живописи Хирага одержал в Акита, куда его пригласили в 1773 году обследовать минералогические ресурсы. Не ограничиваясь этой работой, Хирага стал также давать уроки западной живописи некоторым местным самураям. Когда первый из его учеников, Одано Наотакэ (1749—1800), пришел на первый урок, Хирага попросил его нарисовать сдобную пышку сверху. Хирага забраковал готовый набросок, сказав: «Непонятно, что это — колесо от телеги или, может быть, поднос?..» — после

[3] Сообщение Сиба Кокан, возможно, приукрашивает истину; более вероятно, что Хирага получил эту книгу в подарок.

чего преподал Одано законы светотени. Одано научился передавать очертания предметов не столько с помощью линий, как это было принято в японской живописи, сколько накладывая светлые и темные тона. О мастерстве, которого в конечном итоге достиг Одано, свидетельствуют его иллюстрации к сделанному Сугита переводу «Tafel Anatomia», и только ранняя смерть помешала ему превратиться в действительно большого художника [16, 8—9]. Князь области Акита, Сатакэ Ёсиацу (1748—1785), заметив успехи Одано в западном искусстве, также пожелал учиться у Хирага. Сатакэ стал одним из выдающихся художников в западном стиле. Свои взгляды на искусство он сформулировал следующим образом: «Чтобы живопись была хоть сколько-нибудь полезной, она должна правдиво передавать то, что изображает. Если нарисовать тигра похожим на собаку, отсутствие сходства становится смешным. Возвышенные умы, провозглашающие, что художник должен изображать идеи, а не просто внешнюю форму, упускают из виду практическую пользу живописи» [16, 9]. Это был прямой вызов традиционной школе живописи, рассматривавшей точное воспроизведение реальных форм как «поделку ремесленника» и требовавшей изображать «дух» предмета. Такой взгляд на искусство, возражал Сатакэ, лишен практичности и чужд тому, что подразумевают люди Запада под словом «искусство».

Хонда Тосиаки, не будучи сам художником, интересовался европейской живописью из-за ее практической ценности.

«Один человек спросил меня: „Почему европейская живопись отличается от китайской или японской?“

Я ответил: „Европейская живопись воспроизводит объект в величайших подробностях, так, чтобы картина точно походила на объект, который изображает, и служила каким-нибудь практическим целям. У европейцев существуют правила живописи, которые помогают художнику в достижении этой цели. Они различают деление солнечного освещения на свет и тень, а также соблюдают то, что именуется у них законами перспективы. Например, если бы кто-нибудь задумал нарисовать en face нос человека, он не нашел бы в японской живописи способа передать высоту переносицы. Европейская же живописная техника требует, чтобы по обе

стороны носа были положены тени, благодаря которым можно судить о высоте переносицы"» [85, 155].

Оцуки Гэнсаку восхвалял написанную в 1725 году картину голландского художника Виллема ван Ройена, изображающую цветы, в мягких лирических тонах: «В очертаниях цветов, в форме плодов, в рисунке птиц, бабочек и жучков такая правдивость цвета, такое проникновение в форму, такой блеск, что, глядя на эту картину, кажется, будто сидишь в прекрасном саду и благоухание аромата пропитывает рукава твоей одежды. Поистине мастерство, с которым жизнь скопирована на этой картине, кажется похищенным у самого Творца!» [16, 6].

Главным теоретиком западной живописи в конце XVIII века был Сиба Кокан. В книге «Сожаления Кокан» он пишет о пройденном жизненном пути:

«Сейчас, когда мне за семьдесят, я впервые понял ошибки юности. С детских лет я мечтал удовлетворить свое честолюбие, прославившись успехами в каком-либо виде искусства. Я хотел, чтобы мое имя осталось бы жить в веках после моей смерти. Сперва я решил сделаться оружейником и изготовлять мечи, ибо меч — самое драгоценное достояние воина — передается из поколения в поколение. Мне казалось, что, встав на этот путь, я смогу обрести посмертную славу. Но сейчас наша страна управляется мудро и живет в мире, и хотя самураи все еще носят как украшение знаменитые старинные мечи, новые никому не нужны. Кроме того, меч — орудие смерти, предназначенное для убийства. Вот почему я отверг этот путь» [65, 401—402].

Сиба пишет, что стал затем заниматься изготовлением рукояток для коротких мечей, был подмастерьем у художника и, наконец, стал в высшей степени искусно подделывать картины художника-гравера Судзуки Харунобу в стиле «укиёэ». Может быть, слово «подделывать» звучит даже несправедливо, потому что если не общий стиль и подпись, то, во всяком случае, композиция картин у Сиба была совершенно оригинальной. Однако, неудовлетворенный этими легко добытыми лаврами, он обратился к изучению китайской живописи и быстро достиг в ней больших успехов. В те времена, так же как и теперь, китайская манера живописи требовала от художника соблюдения определенных, обязательных правил. Художник обязан был рисовать

листья не такими, какими он их видел, а так, как о том говорилось в учебниках по рисованию. Каждый элемент картины, каждый пейзаж был регламентирован, начиная с «драконьего хребта» гор и кончая обязательным числом мазков кисти, необходимых для изображения одинокой фигуры путника, бредущего через крохотный мостик.

Сиба легко овладел этими правилами и вскоре уже сам преподавал секреты китайской школы ученикам, в том числе главным вассалам князя Сэндай. После того как Сиба прочел совершенно ошеломившую слушателей лекцию по технике китайской живописи, иллюстрируя ее собственными рисунками, его вызвал сам князь. Сиба произвел огромное впечатление на окружение князя, нарисовав японцев — женщину и мужчину — в китайском стиле. Восхищенные зрители не отпускали его целых двенадцать часов, в течение которых он без устали рисовал. Ему предсказывали блестящее будущее [65, 421]. В ту пору Сиба не было еще тридцати лет.

Тем временем Сиба встретился с Хирага Гэннай (в 1768 году), у которого начал учиться западной живописи маслом. Его первые попытки в западном стиле относятся к пейзажам, в особенности видам горы Фудзи. Таким образом, даже в то время, когда его слава как художника в китайском и японском стилях достигла зенита, он все больше увлекался западной живописью. На увлечение этой новой техникой, очевидно, оказало влияние его пристрастие к Фудзи — ему хотелось запечатлеть прославленную вершину во всех видах. Художники, писавшие в китайской манере, никогда не уделяли внимания такой чисто японской реалии, как гора Фудзи, заполняя свои картины безымянными китайскими горами, скопированными у старых мастеров или с учебников рисования. Художники традиционной японской школы тоже не умели изобразить Фудзи такой, какой она выглядела в действительности, предпочитая смутные и туманные очертания, долженствующие передать «дух» этой горы. Сиба глубоко презирал таких художников. «Люди толкуют о японской живописи, но она вся целиком заимствована из Китая. Даже когда ее представители рисуют Фудзи, эту прославленную гору Японии, они применяют китайский метод. Ничего, ровно ничего не создано в Японии» [65, 405].

Сиба заметил, что дешевые гравюры с изображе-

нием Фудзи, которые продавались на дорожных станциях по пути в Эдо, пользовались большим успехом у голландцев, направлявшихся с ежегодной миссией в Эдо; отсюда он сделал вывод, что Фудзи, должно быть, самая прекрасная гора на свете. Это усилило его решимость передать подлинную красоту горной вершины более правдиво, чем делали художники до сих пор. В своих картинах он стремился показать не величие природы и ничтожество человека или иные идеи духовного порядка, а изобразить Фудзи с максимально доступной точностью. Он теоретически обосновывает такой подход:

«Живопись замечательна тем, что позволяет увидеть то, чего в настоящий момент нет перед твоими глазами. Если картина неверно передает предмет, она лишается чудесной силы искусства. Фудзи-сан — единственная в своем роде гора на свете; иностранцы, желающие увидеть ее, могут сделать это только с помощью картин. Но если художник следует ортодоксальной китайской школе, его картина не передает подлинный облик Фудзи; такая картина будет полностью лишена магической силы, которой обладает живопись. Дать точное изображение Фудзи возможно только посредством голландской живописи» [65, 406—407].

Западная живопись маслом, добавляет он, не изысканная забава любителей вроде китайской каллиграфии, а «орудие на службе страны».

Это замечание проливает свет на еще один полезный аспект западной живописи, который видели в ней ее японские поклонники,— ее эффективность как средства образования. Многих японцев, включая сёгуна Ёсимунэ и главу Государственного совета Мацудайра Саданобу, восхищали подробные иллюстрации в голландских научных книгах по зоологии и ботанике. Было очевидно, что такого рода картины ставили целью передать настоящий вид изображаемого предмета, а не его «дух». Сиба и Хонда были поражены также назидательной пользой, которую западное искусство извлекало из символов. Сиба рассказывает, как с помощью символов (Zinnebeelden) голландцы преподавали мораль, а Хонда потратил много труда, чтобы раскрыть, как он полагал, символический смысл одной русской географической карты:

«На этой русской карте нарисованы человеческие

фигуры. Женщина — это императрица Екатерина. Здесь также нарисована буква «Е», из которой, окружая ее наподобие ореола, растут листья и ветви. Это должно значать, что свет добродетели, источником которого является это «Е», распространяется на все четыре материка. Из четырех обнаженных фигур каждая изображает один материк, и это означает, что в будущем все материки будут принадлежать России. То был смелый план со стороны русских — преподнести такую карту чиновникам Японского государства, чтобы узнать, смогут ли русские покорить Японию» [85, 391].

Что и говорить, точное толкование значения каждой фигуры!

Для людей этого типа живопись от начала и до конца являлась практическим орудием в гораздо большей степени, чем «искусством для искусства». Такой дидактический подход к задачам искусства имел больше общего со взглядами конфуцианских моралистов, чем с воззрениями европейских художников XVIII века (восхищавшихся декоративной китайской живописью), но Сиба и Хонда были бы, вероятно, очень огорчены, если бы им это сказали. Для Сиба китайская живопись превратилась всего лишь в набор художественных клише; только голландская живопись обладала, в его глазах, жизненной силой, приближавшей ее к жизни народа. Хонда пошел еще дальше Сиба, объявив европейскую живопись лучшим средством для обучения народа, противопоставляя голландские научные книги, иллюстрированные пояснительными рисунками, китайской и японской традиции «личного» обучения, передаче знаний от учителя к ученику.

Одним из трудов, на который часто ссылается Хонда, был «Новый и полный словарь искусств и науки» Эгберта Бюи (1769) — книга, сыгравшая важную роль в жизни Сиба. В 1780 году, когда Сиба начал изучать голландский язык, сперва у Маэно Рётаку, затем у Оцуки Гэнтаку, он прочитал те разделы «Словаря» Бюи, которые касались искусства [64, 369]. Это позволило ему в 1783 году возродить искусство офорта, забытое в Японии со времени иезуитских миссионеров. Сиба принадлежит честь первооткрывателя в этом жанре, однако его работы, по мнению современников, далеко уступали голландским, и потому в 1799 году Мацудайра Саданобу послал специального человека в Нагасаки

учиться этому искусству непосредственно у голландцев. Ученик этот кроме гравюр так успешно рисовал карты, что Мацудайра Саданобу пожаловал ему псевдоним Аодо — «Павильон Азии и Европы»; под именем Аодо и известен этот первый великий японский гравер[4].

Сиба часто навещал голландцев, когда те приезжали в Эдо. Во время одного из визитов директор фактории Исаак Титсинг, много сделавший для развития научных интересов в Японии, подарил Сиба сочинение Жерара де Лересса «Книга о великом художнике» [64, 367], заставившее Сиба с головой уйти в изучение живописи маслом. Ему помогал Хирага Гэннай, но у кого он учился, еще неизвестно. Мы встречаем описание обучения голландской живописи у другого автора: «Рыжеволосые весьма преуспели в живописи. Каждый, кто у них обучается этому искусству, сперва тщательно изучает анатомию человека, мужчин и женщин, и учится рисовать обнаженных людей. Затем они рисуют также и одетых» [40, 479]. Возможно, что Сиба тоже прошел такую школу. Во всяком случае, в 1788 году он решил отправиться в Нагасаки, чтобы углубить свои познания в западной живописи. Он посетил ряд японских художников, экспериментировавших в области живописи маслом, и нашел их работы очень убогими [16, 16][5]. Вернувшись в Эдо, он описал свое путешествие в форме дневника, иллюстрированного прелестными маленькими рисунками в чисто японском стиле, очевидно считая, что для информационного повествования лучше подходит такая манера, чем скрупулезная точность голландской школы.

Сиба писал и рисовал до конца жизни, хотя главный интерес его вскоре сосредоточился на точных науках, а затем на философии. В наше время его картины ценятся чрезвычайно высоко и с гордостью экспониру-

---

[4] Полные сведения об Аодо Дэндзэн приведены у Нисимура [46, 408—473]. Настоящее имя Аодо — Нагата Дзэнкити (1748—1822). Нисимура склонен не доверять общепринятому мнению, будто Мацудайра Саданобу командировал Аодо в Нагасаки. Окамура считает [51, 207—223], что Аодо научился искусству гравера по книгам, имевшимся в Эдо, и в особенности благодаря гравюрам Иоганна Элиаса Ридингера (1698—1767).

[5] Эту группу основал Араки Гэнъю, пытавшийся сочетать китайскую и западную технику живописи. Его сын, Араки (иначе Исидзаки) Юси, был более талантлив и прославился своими картинами маслом на стекле.

ются в музеях. Для беспристрастного наблюдателя его живопись представляется скорее примечательной, чем прекрасной; впрочем, его техническое мастерство не вызывает сомнений. Работы Сиба имеют большое значение также и потому, что он оказал влияние на многих японских художников следующих поколений, в том числе и на Хокусая (в свою очередь повлиявшего на французских импрессионистов, и круг заимствований, так сказать, замкнулся). Можно по-разному оценивать современную японскую живопись в европейском стиле, но несомненно одно: она ведет свое происхождение от экспериментов Сиба и рождена его страстью к пользе и к правде.

Письменность

В период между 1592 и 1614 годами иезуитская миссия выпустила некоторое количество японских книг, напечатанных латинскими буквами, большей частью религиозного содержания. Но к концу XVIII века латинский алфавит улетучился из памяти японцев, подобно многому, что принесли с собой португальцы. В 1713 году Араи Хакусэки в одном из сообщений о беседе с итальянским священником Сидотти писал о простоте и совершенстве этого алфавита [3, 814], но только по мере изучения европейской науки западная письменность стала по-настоящему глубоко интересовать японских интеллектуалов. Впервые печатный, прописной и готический шрифты голландского алфавита были воспроизведены вместе с кратким описанием в книге Гото Рисюн «Рассказы о Голландии» (1765) [9, 436—437]. В «Лестнице к голландской науке» (1783) Оцуки превозносил легкость, с которой можно выучить голландский алфавит. В одном из разделов «Сборника бесед о рыжеволосых» (1787) Морисима Тюрё говорит о непригодности использования китайских иероглифов для воспроизведения звуков японского языка. Морисима особенно подчеркивает, что голландцы считают японскую систему письма нелепой — серьезное обвинение в глазах японцев, становившихся все более самолюбивыми.

«В одной голландской книге, описывающей обычаи всех стран, следующим образом высмеивается употребление китайских иероглифов: в Китае для обозначения каждой вещи или понятия используется отдельный иеро-

тлиф. Некоторые иероглифы имеют только одно значение, другие могут обозначать десять или двадцать понятий. Существуют, наверное, десятки тысяч иероглифов. Жители Китая изучают их день и ночь с таким усердием, что забывают о еде и о сне, однако за всю жизнь им не удается изучить все элементы письменности своей страны. Это означает, что только немногие умеют без труда читать книги, написанные на родном языке. Разве это не смешно! В Европе существует всего двадцать пять букв, но никто не считает, что этого количества недостаточно...

Я думаю, что в древности письменность была проста и никаких иероглифов не было. В позднейшие времена для обозначения пятидесяти звуков японского языка заимствовали китайские иероглифы. В дальнейшем китайские иероглифы стали употреблять и по смыслу и по звучанию, а исконный японский обычай — пользоваться только немногими простейшими иероглифами — был предан забвению во имя сложной и утомительной китайской системы письма. Почему?» [40, 474].

Морисима отчетливо видит несоответствие между звучанием живой, разговорной японской речи и символами, используемыми для обозначения этой речи в письменной форме, т. е. указывает на несоответствие, кардинальное в истории японского языка. Он подтверждает, что вначале японские звуки записывали, используя иероглифы только фонетически; из этих фонетических знаков постепенно развилась японская слоговая азбука «кана». Однако в действительности использование китайских иероглифов для обозначения как японских, так и китайских слов восходит к очень далеким временам. Некоторую аналогию можно усмотреть в использовании латинского алфавита для записи звуков староанглийского языка, а затем и во все возраставшем заимствовании латинских слов, в результате чего и сформировался современный английский язык. Точно так же как некоторые английские люди науки любили демонстрировать свою ученость, употребляя трудные латинские цитаты и выражения, так и японские ученые уснащали свои труды китайскими словами. Как в Англии, так и в Японии ученые писали свои труды на классических языках: по-латыни — в Европе, по-китайски — в Японии, считая, что родной язык не способен выразить все необходимые оттенки мысли.

Критическое отношение к употреблению китайских иероглифов отчасти выражало антикитайские настроения сторонников европейской науки. Хонда, например, неодобрительно отзывался об ученых, научная репутация которых основывалась исключительно на познаниях в области китайской иероглифики. Он утверждал, что время, потраченное на запоминание десятков тысяч иероглифов, могло быть истрачено с большей пользой. «Вместо того чтобы стремиться к славе ученого, достигнутой благодаря знанию китайской письменности, гораздо разумнее было бы пользоваться нашей японской азбукой „кана" и сосредоточить свои усилия на содержании предмета» [84, 140]. Японская экспедиция, посетившая в 1786 году Курильские острова, была поражена тем, с какой легкостью туземцы овладевали русским алфавитом. Прогрессивно настроенные люди не раз подчеркивали преимущества фонетической азбуки в процессе преподавания. Сиба считал, что необходимость овладеть в первую очередь сложной (и для японцев ненужной) китайской письменностью препятствует развитию науки в Японии.

«Человеческие создания с двухлетнего возраста могут произносить слова „папа" и „мама". Вырастая, они, естественно, усваивают множество слов. Никому не надо учиться, как произносить слово „тэнти" (вселенная), но никто не сможет прочесть иероглифы, обозначающие это слово, если предварительно их не выучит. Без изучения китайских иероглифов, которые употребляются в Японии и в Китае, невозможно читать книги и понимать учение классиков. Однако в Японии в основном в ходу свои, родные слова. Обычный разговор всегда ведется с помощью родных слов, и многие выражения этого обиходного языка не имеют соответствующих иероглифов.

Западные народы пользуются вместо иероглифов знаками, которые указывают только произношение. Разве это не пустая трата времени, когда сперва читаешь книгу, не понимая ее значения, и только потом спрашиваешь учителя, что это все значит? На Западе основой письменности являются звуки родного языка, и поэтому, чтобы постичь законы земли и неба, людям там достаточно лишь заглянуть в книгу. Это напоминает чтение японской азбуки „кана". У европейцев не существует различия между изящным и простым языком

Поэтому они могут изучить все основные законы без помощи учителя» [62, 2].

Сиба был знаком не только с латинским алфавитом, он знал корейский, маньчжурский и индийский алфавит. Он считал, что каждый народ должен иметь свой алфавит (или слоговую азбуку). Для китайцев употребление иероглифов, может быть, наиболее практично, признавал он, но для японцев гораздо удобнее пользоваться родной азбукой „кана", поскольку она годится для записи слов повседневного языка лучше всякой иной системы письма. Хонда Тосиаки, также признававший преимущества „каны" перед китайскими иероглифами, считал латинский алфавит еще более удобным. Во-первых, в нем вдвое меньше знаков, чем в слоговой азбуке «кана», а во-вторых, с помощью более гибкого латинского алфавита можно воспроизвести такие звуки, которые не способна передать японская азбука. И самое главное — латинский алфавит принят почти во всех странах мира и потому лучше соответствует потребностям народа, условия жизни которого зависят от международной торговли, чем любая другая, более локальная система письма.

По мнению Хонда, японская письменность, так же как и японская живопись, является скорее уделом любителей, нежели практическим средством общения.

«Если тщательно присмотреться к их системе письма и к нашей,— писал он,— то становится очевидным, которая из этих систем хороша, а которая ошибочна. Нашим недостатком является стремление к пустым и праздным занятиям, число которых все увеличивается и на которые люди тратят все больше времени. Когда же приходит старость, уже поздно раскаиваться. К счастью для европейцев, они предвидели это и приняли меры, чтобы избежать системы письма, столь бесполезной для народа» [85, 155].

Прошло сто пятьдесят лет с тех пор, как Сиба и Хонда впервые выступили с призывом перейти на фонетическое письмо, а борьба за отмену иероглифов все еще продолжается, и шансы на успех у сторонников азбуки и сейчас не больше, чем раньше. Главным препятствием для введения чисто фонетической письменности, будь то японская «кана» или латинский алфавит, является, по-видимому, огромное количество омонимов, некогда заимствованных из китайского языка, но став-

ших в настоящее время такой же органической частью японского языка, как, например, латинские по происхождению слова «electrical» или «moment» стали словами английского языка. Сторонники национальной науки старались очистить японский язык от заимствованных китайских слов и таким способом устранить это препятствие, но результаты оказались столь же невероятными, как если бы, например, мы вздумали заменить вышеприведенные английские слова выражениями «amber-crapty» или «eye-blick».

В конце XVIII века только небольшая группа энтузиастов стремилась пользоваться западной письменностью. Сиба охотно подписывал свои картины на западный манер «K. Shiba». Другие художники тоже обращались в своих работах к голландским словам, часто в бессмысленных сочетаниях, как к декоративному моменту. Что же касается простых людей, то они относились к западной письменности как к чему-то глубоко чуждому, непонятному и забавному. Капитан Василий Головнин, оказавшийся в плену у японцев в 1811 году, вспоминает: «Японцы почитают русское писание такою же редкостью, как и мы восточные рукописи. Они показали нам веер, на котором написаны были четыре строки песни „Ах! Скучно мне на чужой стороне“ и подписаны каким-то Бабиковым, бывшим здесь с Лаксманом. Тому двадцать лет, как они здесь были, но веер чист и нов совершенно; хозяин веера хранит его в нескольких листах бумаги и едва позволяет до него дотронуться» [110, I, 113].

Так случилось, что практическое письмо Запада превратилось в еще один предмет развлечения для японских любителей экзотики.

Книги

Не следует удивляться, что в трудах Хонда, Сиба и их современников очень редко упоминается европейская художественная литература. Для среднего ученого «рангаку» голландская проза или драматургия были почти недоступны[6]. Кроме того, японцы всегда подчеркивали практическую ценность западной науки, к беллетристи-

[6] О ранних переводах европейской поэзии пишет Окамура [151, 114—38]. Об этом же подробно пишет Тиба.

ке же этот критерий нельзя было применить. Хонда, например, даже вообще отрицал существование подобных книг: «В Европе принято в первую очередь думать о пользе государства. Поэтому там имеется Академия, которая проверяет все книги, прежде чем их печатать, с тем чтобы не публиковалось ничего непристойного или фривольного» [85, 156][7].

Тем не менее Сиба был знаком с одним произведением европейской литературы — то были «Басни Эзопа». Эта знаменитая книга появилась сперва в переводе, сделанном иезуитами в 1593 году, но, подобно другим изданиям времен португальцев, в XVIII веке была забыта. Сиба обнаружил ее в библиотеке князя Кии. Он перевел некоторые басни на китайский язык и сочинил несколько новых в духе Эзопа [66, 30]. Сиба утверждает — но нам не обязательно с ним соглашаться,— что главное достоинство этих басен заключается в их назидательном характере, аллегорическом смысле. При таком подходе он сумел усмотреть какую-то пользу в этой книге, которая в противном случае считалась бы просто развлекательной.

Хирадзава Кёкудзан знал отрывок из другого произведения европейской литературы. В бытность свою в Нагасаки он слышал следующую историю:

«Около десяти лет назад один корабль прибило к острову, и два человека из команды высадились на берег в поисках воды. Там им повстречался великан ростом выше 10 футов; у него был один глаз посреди лба. При виде двух моряков великан очень обрадовался. Он схватил их и притащил в пещеру среди скал. Вход в пещеру великан закрыл на огромный засов. В пещере находилась великанша, подруга великана.

Спустя некоторое время один из великанов вышел наружу, и дверь за ним снова заперли. Второй великан поймал обоих мужчин и долго, пристально их разглядывал. Внезапно он схватил одного из них и начал пожирать, начиная с головы. Оставшийся в живых мужчина

---

[7] Окамура пишет, что первым голландским стихотворением, переведенным на японский язык, была застольная песня, переведенная Аоки Коньё в 1745 г. [51, 104]. В начале XIX в. японские ученые, гораздо лучше знавшие голландский язык, проявляли больше интереса к переводам поэзии. Ота описывает также довольно подробно любительские театральные спектакли, поставленные голландцами в Дэсима в 1820 г.

смотрел на это с удивлением и ужасом, ему казалось, что в ночном кошмаре ему видится демон и что спастись ему уже не удастся. Закрыв лицо руками, он старался не видеть, как великан пожирает его товарища. Вскоре великан уснул, и храп его напоминал гром.

Человек раздумывал, как спастись. В конце концов он решился попытать счастья и выколол великану глаз своим кинжалом. С громким криком великан стал в ярости метаться по пещере, ощупывая все предметы в поисках моряка, который бросился на землю и лежал плашмя. Не будучи в состоянии найти его, ослепший великан чуть приоткрыл вход в пещеру и стал выгонять животных. Он выпускал их по очереди, как видно, надеясь таким способом поймать и убить человека. Мужчина оказался как бы в ловушке. Но он проворно уцепился за брюхо огромного кабана, а великан, не догадываясь, какую шутку с ним сыграли, выпустил животное наружу. Моряку удалось убежать на свой корабль, который тотчас же отчалил от берега» [83, 58—60].

Хирадзава передает этот отрывок из «Одиссеи» как подлинное происшествие, случившееся с реальным человеком, но все же кое-что в этой истории вызывало у него сомнение. Дело в том, что согласно европейским географическим атласам, по которым он справлялся, земля великанов действительно существовала, но нигде не упоминалось, что они каннибалы...

Очень интересно, какими путями повествование Гомера дошло до Нагасаки в 1774 году. Возможно, эту историю рассказал японцам какой-нибудь служащий голландской фактории, больше других начитанный в литературе, а может быть, она проделала более сложный путь через просторы Азии. Хирадзава пишет, что не только слышал этот вариант рассказа о Полифеме, но и читал менее подробные описания этой истории в книгах о путешествиях и разного рода чудесах. Такого рода литература была самой подходящей для перевода на японский язык. Недаром первым переводным романом (перевод сделан в 1850 году) стала «История странствий, написанная англичанином Робинзоном Крузо» [8].

---

[8] Этот перевод, сделанный Курода Кикуро (1827—1892), был опубликован только после реставрации Мэйдзи. Несколько более поздний перевод — Ёкояма Ёсикиё (1826—1879) — был опубликован раньше, в 1857 г., с иллюстрациями в европейском стиле [69, I, 516—18; 546—49].

Однако книги, ввозимые в Японию вплоть до конца XVIII века, были, за немногими исключениями, явно практического характера. Одним из самых популярных трудов был уже упоминавшийся нами «Словарь» де Бюи и «Энциклопедия» Шомеля, подаренная Титсингом одному из переводчиков. В последующие годы Сугита Гэмпаку и некоторые другие выдающиеся ученые «рангаку» предприняли перевод этой «Энциклопедии», но после тридцати пяти лет упорных трудов он так и остался незавершенным.

Больше всего интересовали японцев научные книги, о чем свидетельствует отчет об одном аукционе, где продавалось имущество какого-то голландского купца. На этом аукционе, состоявшемся в 1762 году, присутствовали Ниси Дзэндзабуро и некоторые его коллеги. Они купили какие-то сувениры, но оказались не в состоянии приобрести ни одной из продававшихся книг, хотя среди этих книг был морской географический атлас, книги по вопросам права и «История Японии» Кемпфера [107, 253]. Очевидно, в те времена больше всего ценились книги по медицине, естествознанию, астрономии, физике. К концу XVIII века во многих городах и замках Японии уже имелись очень неплохие собрания европейских научных книг, в том числе собрание Мацудайра Саданобу, созданное им, как видно, после долгих колебаний.

«Около 1792 или 1793 года я начал собирать голландские книги. Варвары преуспели в науках, их труды по астрономии и географии могут принести немалую пользу, так же как их военное снаряжение и медицина — способы лечения внутренних болезней и хирургия. Тем не менее их книги способны возбуждать праздное любопытство или же содержать вредоносные идеи. Исходя из этого, может показаться разумным вообще запретить голландские книги, однако простым запретом не удастся помешать людям читать эти книги. Кроме того, некоторые книги могут принести пользу. Поэтому нельзя допускать, чтобы голландские книги и прочие иностранные вещи попадали в большом количестве в руки людей безответственных; желательно, чтобы эти книги хранились в правительственных библиотеках. Однако, если никто не будет читать их, они превратятся в пищу для червей. Я сообщил губернатору Нагасаки, что желательно, чтобы такие книги не рассеивались по всей

стране и в случае какой-нибудь официальной необходимости могли бы использоваться для консультации. Так случилось, что я стал приобретать иностранные книги» [33, 177].

Частные собрания имелись у многих переводчиков в Нагасаки. Один из таких переводчиков, Судзуки Тадао (1760—1806), выполнил перевод, может быть самый выдающийся из всех переводных работ XVIII века. Это была «Рэкисё синсё» («Новая книга об астрономии»), учебник астрономии и физики, переведенный на японский язык между 1798 и 1803 годами с голландского перевода английской работы Джона Кейла (1671—1721), созданной столетием раньше. Хотя Судзуки называет себя всего-навсего «толмачом», его работа представляет собой нечто большее, чем простой перевод. Это было оригинально построенное изложение всех доступных ему материалов по данной теме, рассчитанное специально на японских читателей. Кроме работы Джона Кейла Судзуки, автор оригинального текста «Рэкисё синсё», читал труды Ньютона и Напьера в голландском переводе, а также другие европейские книги в китайском изложении. Оцуки Гэнтаку называл Судзуки самым знающим из всех переводчиков, и высокий уровень «Рэкисё синсё» подтверждает эту оценку.

Судзуки перевел также часть работы Кемпфера «История Японии». Этот отрывок назывался у Кемпфера «Исследование вопроса о том, полезно ли для Японской империи оставаться закрытой страной, каковой она является в настоящее время, не разрешая своим жителям вести торговлю с иностранными государствами, как у себя дома, в Японии, так и за ее пределами» [118, III, 301—336][9]. Судзуки передал это заглавие гораздо проще: «О закрытии страны». Этим переводом он стремился показать, что прославленный европеец тоже считает наиболее мудрым для Японии сохранять политику изоляции. Возможно, что единственный случай, когда европейская книга использовалась как подтверждение правильности традиционных путей Японии. Считалось более обычным, это европейские авторы по возвращении на родину пишут отчеты, потешаясь над отсталыми законами японцев.

---

[9] Кемпфер пришел к выводу, что для Японии выгоднее оставаться «закрытой страной».

Может показаться странным, что Судзуки, выдающийся деятель в области освоения европейской науки, был в то же время сторонником изоляции страны, однако одно не обязательно противоречит другому. Оцуки Гэнтаку, например, считал, что японцам непременно следует овладеть западной наукой, но после того как этот процесс завершится, в дальнейшем общении с Европой не будет ни малейшей нужды. У Хонда восхищение Западом всегда сдерживалось страхом, что чужеземцы могут узнать о Японии слишком много; он проявляет себя сторонником изоляционизма в гораздо большей степени, чем можно было бы ожидать от такого прогрессивного человека. Очевидно, Судзуки, подобно Хонда и Оцуки, считал крайне важным для Японии обеспечить себе свободу выбора в вопросе о том, что именно надлежит заимствовать у Запада. По мнению этих людей, открытие страны означало бы проникновение наряду с полезными знаниями нежелательных иностранных идей.

Как переводчик Судзуки сделал больше всех других ученых «рангаку». В самом деле, бросается в глаза одно обстоятельство: в эту эпоху огромного интереса к Западу появляется ничтожно малое число переводов. Кроме «Tafel Anatomia» и нескольких официально затребованных правительством коротких рефератов географических и исторических трудов, XVIII век не может похвалиться какими-либо серьезными переводными работами. Возможно, это отчасти объясняется распространенным в те времена мнением, что все люди, серьезно интересующиеся западными науками, должны сами изучить голландский язык, отчасти же опасением, что, после того как трудоемкая работа по переводу будет завершена, книгу не удастся напечатать из-за строгой правительственной цензуры. Известно, что некоторые переводы распространялись тайно, переходя из рук в руки. Хонда, например, очень гордился своим переводом одного учебника навигации и намеревался преподнести его всем японским судоводителям. «Эта книга будет в высшей степени полезной на корабле»,— писал он [85, 152]. Однако ни этот, ни какой-либо другой перевод, сделанный Хонда, не вышел за пределы узкого круга его близких друзей. Вероятно, такая же судьба постигла книги, переведенные с голландского языка другими учеными. Возможно, для репутации некоторых ученых

«рангаку» даже лучше, что их переводы не сохранились: многие забавные недоразумения в области географии и истории иностранных государств XVIII столетия возникли, очевидно, из-за ошибок в переводе и толковании.

В 1803 году эпоха случайных и бессистемных переводов закончилась. В этом году сёгунат учредил при обсерватории в Эдо присутствие, специально предназначенное для переводов книг по астрономии и геодезии. В 1811 году было создано еще одно учреждение такого же типа — для перевода книг более общего характера [20, 657—658]. С этого времени правительство регулярно приобретало научные книги, и эти книги систематически переводились на японский язык.

В этой связи нужно коснуться вопроса о знании японцами других европейских языков кроме голландского. К середине XVIII века при фактории в Дэсима уже не осталось переводчиков португальского языка; все интересы сосредоточились вокруг изучения голландского языка. В 1799 году, когда сёгун Иэхару приказал Маэно Рётаку перевести надписи на гравюрах в его коллекции, Маэно с огорчением обнаружил, что они сделаны по-латыни.

«Великий правитель приказал мне перевести надписи, украшающие западные картины, и я почтительно взялся за выполнение этой задачи. Картины сделаны во Франции, но тексты написаны по-латыни, из которой образовался французский язык. Это изящный и гибкий язык, способный выражать глубокое содержание. Поэтому те, кто специально ему не обучался, будь то француз или голландец, тем более голландец из Нагасаки, с этим языком незнакомы» [36, 1] [10].

Понимая это, Маэно тем не менее продолжал трудиться над переводом, хотя единственным подспорьем ему служил латино-японский словарь семидесятилетней давности. Но так как Маэно совершенно не знал латинской грамматики, его истолкование четверостиший, украшавших гравюры, мягко говоря, оставляет желать

[10] Автором гравюр был Страданус (1523—1605); возможно, это были гравюры из серии Venationes ferarum, anium piscium pugnae.

Это была не столько французская, сколько фламандская живопись: Маэно ошибочно истолковал имя издателя Galle как Gallic. Время создания гравюр позволяет предположить, что они, возможно, уже давно попали в собственность сёгуната.

лучшего. Так, например, латинское слово «est» он переводил как «мясная пища»; нетрудно представить себе, как это отразилось на смысле стихотворения. Но Маэно продолжал храбро пробиваться вперед, переводя надписи на японский и на классический китайский язык, который казался ему соответствующим высокому художественному уровню латыни.

Возвращение в Японию Кодаю в 1792 году означало, что появился по крайней мере один японец, знавший русский язык. Кодаю привез с собой несколько книг и, возможно, перевел некоторые из них, хотя мы не располагаем об этом точными сведениями. В 1811 году капитан Головнин беседовал с одним «ученым академиком, который занялся переводом сокращенной арифметики, изданной в Петербурге на русском языке для народных училищ, которую, по словам их, еще Кодай привез в Японию» [111, II, 116—117]. Но еще раньше некоторые японцы, бывавшие на Курилах, немного знали русский язык, которому они научились от русских охотников, промышлявших на островах или, может быть, на Камчатке. Когда капитан Броутон посетил Эдзо в 1796 году, один из японцев, с которыми он беседовал, заявлял, что бывал в Санкт-Петербурге [101, 101].

Организованное обучение европейским языкам помимо голландского началось в 1808 году, когда Дёфф, директор фактории в Дэсима, стал давать уроки французского языка шестерым ученикам. В следующем году группа японцев начала заниматься русским и английским языками, и с этого времени оба эти языка стали регулярно изучаться [18, 82]. В 1826 году Кондо Морисигэ, составляя списки иностранных книг, собранных в Японии за минувшее полстолетия, называет много грамматик и словарей английского и других европейских языков помимо голландского, так же как и созданные на этих языках труды по точным наукам, литературе и истории [26, 242—253]. Внушительный список Кондо показывает, какую грубую ошибку совершают некоторые историки, недооценивая знание Запада в жизни Японии до прибытия Перри.

Все японские интеллектуалы конца XVIII века самых различных взглядов были единодушны в убеждении, что буддизм ничего не дает народу, а буддийское духовенство полностью разложилось. Такое отношение к буддизму может показаться удивительным, если принять во внимание, что закон принуждал каждого человека поддерживать связь с буддийским храмом и даже те, кто, подобно Хонда Тосиаки, всю жизнь отрицал эту религию в каком бы то ни было ее аспекте, заранее знали, что почти наверняка будут похоронены в земле, принадлежащей буддийскому храму.

Различные группы ученых — конфуцианцы, поклонники «рангаку» и ученые национальной школы — относились к буддизму с презрением и отвращением по разным мотивам, но все сходились в одном: буддийские монахи невежественны и бесчестны. Множество храмов и многочисленность духовенства могли породить иллюзию, будто религия процветает, однако современники утверждали, что на сотню монахов не нашлось бы и одного, который принял обет, искренне желая проповедовать учение Будды [31, 325]. Ученые, верившие в превосходство национального японского учения, считали, что недостойная жизнь, которую вели монахи, была неизбежным следствием иноземного происхождения буддийской религии. Другие ученые утверждали, что моральная деградация священнослужителей есть результат забвения ими истинных целей и заповедей буддизма, которые сами по себе являются благотворными. Сиба Кокан начинает один из своих бесчисленных памфлетов, резко критикующих буддизм, фразой: «В наше время монахи стали тунеядцами и предали забвению истинное призвание священнослужителя» [65, 422—423].

Знакомясь со взглядами Сиба на религию буддизма, мы невольно изумляемся непоследовательности и путанице в его воззрениях, его критике всех и вся. Возможно, такое впечатление создается из-за манеры Сиба объединять разрозненные короткие эссе, написанные в разное время, что крайне мешает проследить развитие его идей. Тем не менее интересно наблюдать, как меняются его взгляды: от предложений, продиктованных заботой о престиже буддизма и направленных на восстановление его авторитета, он переходит к яростным

атакам на эту религию. Сиба утверждал, например, что правильное понимание учения Будды явилось бы благом для страны. По мнению Сиба, первым требованием, предъявляемым к священнику, должна быть образованность. «От того, кто хочет стать истинным проповедником учения Будды, требуется только одно — обладать соответствующими умственными способностями. Ему незачем брить голову и становиться монахом» [65, 474]. Просвещенный священник будет читать священные сутры не ради их буквального значения, а видя в них отражение высшей истины. Если бы священников набирали не из среды молодых деревенских парней, а из числа зрелых, образованных людей, очень скоро вновь появились бы великие вероучители, которые смогли бы постичь сокровенные истины и восстановить престиж буддизма в глазах народа... Таковы идеи, изложенные во многих его эссе. От них мы переходим уже к несколько иным его взглядам:

«Конфуцианство и буддизм можно кратко определить следующими словами: первое кладет в основу принципы гуманности, честности, внутренней дисциплины, мудрости и искренности, чтобы человек руководствовался этими принципами в своей повседневной жизни, и предписывает соблюдать их до самой смерти; второй же считает человеческую жизнь кратким сном и учит не придавать слишком большого значения тому, что является, по сути дела, эфемерным и призрачным» [65, 453].

И еще резче: «Каждому человеку, будь то дворянин или простолюдин, следует читать и перечитывать „Великое учение“ и „Лунь Юи“. Не надо изучать буддизм. Это ложное учение. Различные буддийские секты ведут свое начало от западного христианства. Учение Сакья-Муни основано на христианстве» [65, 317].

И в заключение, окончательно запутывая вопрос, Сиба пишет:

«В нашей божественной стране не должно существовать никакого иного учения, кроме учения Великой богини в Исэ. Буддизм — еретическая, чуждая нам индийская вера. Ей не место в Стране богов, и следовало бы давным-давно запретить ее» [66, 87].

У Сиба нет почти ни одного высказывания о религии, которое он сам не опроверг бы в каком-нибудь другом сочинении. В этих поворотах мысли угадывает-

ся духовное смятение высокоинтеллектуальной личности, на формирование которой оказало глубокое влияние знакомство с новой иностранной наукой. Сиба с готовностью признавал превосходство науки Запада («В Китае и в Японии не существует науки»,— говорил он) и сурово порицал японцев за эмоциональную «женственность» мышления, за то, что голым фактам науки они предпочитают религиозную мишуру. Но как ни велико было его восхищение западными науками,— напомним, что Сиба был не только художником, но и выдающимся популяризатором западных знаний,— он чувствовал, что в его учении не хватает чего-то, что удовлетворяло бы его в духовном плане. Каким-то путем ему удалось получить информацию о христианстве; возможно, он рассчитывал, что эта информация дополнит его познания о Западе. Однако внешнее сходство христианства с буддизмом привело его к выводу, что, по существу, это одна и та же религия, впоследствии заимствованная Сакья-Муни и переданная им народам Востока [66, 120]. Некоторое время он полагал, что буддизм, несмотря на смехотворные фактические ошибки, встречающиеся в буддийской религиозной литературе, стремился к более высоким истинам, хотя это отчетливо и не выражено. Но в конце концов он оставил эту мысль, отвергая и христианство и буддизм как чуждые иностранные учения. На некоторое время он увлекся конфуцианством и синтоизмом, но поведение профессиональных ученых-конфуцианцев оттолкнуло его от этой философии; очень скоро он разочаровался и в синтоизме, носившем слишком примитивный характер.

После всех этих неудачных попыток отыскать религиозные или философские доктрины, способные дать душе такое же удовлетворение, какое давала голландская наука разуму, Сиба впал в своего рода мизантропию, давшую основание одному японскому исследователю сравнить его с Шопенгауэром [см. 52]. Но своеобразные положения его философии скорее напоминают нам Гераклита или какого-нибудь другого раннего греческого мыслителя. Вполне возможно, что он познакомился с их учением благодаря какой-нибудь голландской научной книге. Сиба считал первичным элементом огонь, а воду — порождением огня. Первичность огня побудила сторонников синтоизма провозгласить солнце главным божеством; буддисты тоже уподобляли солнцу

свое центральное божество — Дайнити. В мире, возникшем из взаимодействия огня и воды, человек являет собой жалкое создание. «Только сугубо предвзятые представления заставляют человека считать себя самым совершенным из творений» [41, 253]. Он даже противопоставляет ничтожеству человека совершенство и коллективизм муравьев. Но научные достижения человека, благодаря которым он сумел постичь величие вселенной, ставят его превыше всех живых тварей...

«Земля и небо созданы энергией огня и воды. Два эти первоэлемента наполняют пространство и дают жизнь всему живому, в них существует все живое. По сравнению с безграничностью неба человек кажется меньше самой маленькой мошки. Человеку может казаться, будто ему дарована долгая жизнь, однако скоротечность его бытия можно уподобить краткой жизни цикады, которой не суждено дожить до весны, или гриба, появившегося на свет утром и увядающего с наступлением ночи.

И все же человек — чудо творения, ибо он познал безграничность неба, измерил земные пределы и побывал в самых отдаленных краях земли, ни на минуту не прекращая свое движение, поиски и не отказываясь от своих стремлений. Повсюду на земном шаре водится эта мошкара — „люди", и нет им числа. У каждого из этих созданий есть глаза, рот и нос, так же как у других и вместе с тем непохожие на других; у каждого свои особые помыслы и стремления.

...На свете не бывает абсолютных единомышленников-друзей. Мы можем вместе смеяться над пустой книгой вроде этих моих писаний, но очень скоро наши желания разведут нас в разные стороны. Хотя мы сходны, но в то же время различны» [41, 253].

В конце жизни Сиба утратил интерес ко всему, чем увлекался в былые годы, и обратился к нигилистическому учению даосизма. Говорят, будто на смертном одре он сказал: «Если бы кто-нибудь попросил у меня рисунок, я не стал бы рисовать. Если бы сам князь призвал меня, я не откликнулся бы на его зов. Мне наскучили и голландская наука, и астрономия, и мысли о новых изобретениях. Только Лао Цзы и Чжуан Цзы дают мне радость» [43, 18].

Сиба весьма колоритная и типичная фигура не только как один из самых чутких мыслителей своего време-

ни, но и как предтеча того поколения, которому суждено было жить намного позже, уже после реставрации Мэйдзи 1868 года, когда первая вспышка увлечения Западом уступила место разочарованию и неудовлетворенности. Такое душевное состояние часто предрасполагает к обращению к старым взглядам в поисках мудрости, столь необходимой в тревожные времена, как это и сделал Сиба. Он был страстно предан новой науке и стал великим пионером в деле ее распространения, но наука, открыв ему могущество и в то же время ограниченность возможностей человека, не смогла утолить его духовную и этическую жажду. Отвергая одно за другим все религиозные учения, он в конце концов нашел утешение в Пути, которому нет названия.

Резкий контраст с непрерывными поисками и метаниями Сиба представляет собой четкий позитивный взгляд на религию Хонда Тосиаки. Он подходил к религии со своим неизменным критерием: «В чем ее польза?» В отношении буддизма ни малейших сомнений быть не могло: Япония, и без того попавшая в невыгодное положение из-за дальности расстояния от первоисточника цивилизации — Египта, пострадала от столкновения с этой религией. «Япония была тогда молодым государством, практическим знаниям еще предстоял долгий путь развития. Это внешнее вторжение затруднило рост знаний. Буддизм, как правило, ведет к тому, что люди бесполезно теряют время, пребывая в полном невежестве» [85, 129]. Хонда относился к буддизму особенно сурово, но и другие религиозные учения, используемые в Японии, также вызывают у него мало симпатии; он всегда подчеркивает отсутствие в них практической пользы для народа.

«Существуют мудрые конфуцианские книги, но ученые не извлекают из них никакой пользы. Буддисты читают свои священные книги, но, так как они читают их в подлиннике, на санскрите, это чтение похоже на кваканье лягушек. О синто принято говорить, что это учение исполнено глубоких таинств, но похоже, что эти таинства ничем не могут помочь простому народу» [85, 132].

Огульное отрицание традиционных для Японии верований основывалось на убеждении Хонда, что положение в Японии следует изменить. Все учреждения, способствующие сохранению современного положения, дол-

жны быть уничтожены, и вместо них надлежит создать институты, существующие в странах, судьба которых сложилась более счастливо.

«В целом можно сказать, что Япония стоит на месте, в то время как Россия стремится вперед. Из-за нашей нерасторопности во всем Россия завладела Камчаткой, принадлежащей инертной Японии. Варвары, живущие на островах к востоку, югу и западу от Камчатки, тянутся к русским, как муравьи к сахару, потому что русские сумели извлечь для себя науку и пользу из опыта своей борьбы и трудов за минувшие полторы тысячи лет» [85, 182].

Единственной религией, избежавшей суровой критики Хонда, было христианство. Случалось, правда, что в своих сочинениях он нарочно пугал этой запрещенной религией, чтобы вернее обеспечить поддержку своим идеям, таким, например, как установление отчетливой границы между Японией и Россией, но в целом он относился к христианству скорее дружественно. Он слыхал, что некоторые высокопоставленные китайцы приняли христианство, предпочитая эту религию буддизму, и размышлял: не в этом ли кроется секрет процветания китайских портовых городов? [85, 136]. Если так, то, по мнению Хонда, христианство — единственная религия, действительно имеющая практическую ценность.

Хотя Хонда относился с осуждением к воображаемым намерениям португальцев завоевать Японию, он восхищался католическими священниками, побывавшими в стране. Об одном из них он рассказывает довольно подробно: «Римский император выбрал его и послал в Японию, чтобы научить японцев католической религии, а также преподать им основы естественного правления. Его миссия состояла не в том, чтобы, воздействуя на японский народ, подготовить завоевание страны, как то делали португальцы, а в том, чтобы передать благодатные и гуманные институты римского императора» [85, 158] [11]. К несчастью, сёгунат отказался прислушаться к словам этого священника, и, прожив сорок лет в плену, добродетельный чужеземец скончался, так ничего и не совершив. Хонда верил, что «принципы естественного правления», которые этот священник готовился передать

[11] События, якобы происходившие с этим священником, в действительности произошли с двумя итальянскими миссионерами Сидотти и Чиара.

японцам, могли бы стать целительным средством против бедственного положения в стране, которое в противном случае следует считать безнадежным. «Тот, кто воплотит эти принципы в жизнь, прославится как великий вождь на веки веков. Нужно непременно осуществить благодатные и гуманные порядки римского императора. Если это произойдет, оба народа будут жить в дружбе и благоденствии, корабли будут регулярно плавать между обеими странами и оба государства будут все более процветать». «Какое несчастье, что этот человек, который мог бы помочь стране, был оставлен в жестоком пренебрежении в течение сорока лет, которые он прожил в Японии!» — заканчивает свое сообщение Хонда [85, 159].

Хонда восхищался христианством отнюдь не потому, что был детально знаком с догматами этой религии. Скорее его привлекало то, что эту религию исповедовали в процветающих и надлежащим образом управляемых иностранных государствах. Единственным произведением религиозной христианской литературы, которое он цитирует, был написанный по-китайски сборник Дидакуса де Пантойя (1571—1618) «Семь побед» — рассказы о добродетельных людях, сумевших одолеть семь грехов, и о людях порочных, впавших в смертельные прегрешения. Судя по всему, единственные сведения, которые Хонда почерпнул из этого сочинения, состояли в том, что на Западе никому, даже самому императору, не разрешается иметь наложниц. По мнению Хонда, это было весьма похвально с точки зрения евгеники [12]. Итак,

---

[12] Хонда полагал, что на Западе самой желательной формой брака считался брак между наиболее близкими родственниками. Такие союзы якобы поощрялись, потому что способствовали сохранению положительных качеств данной семьи. «Если же не находится близких родственников подходящего брачного возраста и приходится вступать в брак с представителем другого семейства, люди видят в этом наказание, ниспосланное богом за грехи. В низших классах открыто осуждают такие браки. Таким образом, даже если в семье много детей, все равно браки стремятся заключать с близкими родственниками — двоюродными братьями или сестрами или с дядьями и тетками, если возраст последних подходит. Такие браки считаются наиболее удачными» (Хонда Тосиаки, Сэйики-моногатари, Хонда Тосиаки-сю, Токио, 1935, стр. 188).

Ученик Хонда, Могами и Токунай тоже с одобрением цитирует сборник «Семь побед», хотя в то же время верит, будто одним из семи смертных грехов у христиан считается смех. См.: Минакава Синсаку; Могами Токунай, Токио, 1949, стр. 234.

ни Хонда, ни какой-либо другой ученый, изучавший западные науки, по-настоящему не интересовался доктринами христианства.

Углубленным изучением христианства занимались сторонники синто, в особенности Хирата Ацутанэ (1776—1843), которые использовали теологические ресурсы этой религии для решительной атаки на буддизм. Хирата, о котором рассказано более подробно в последней главе, превозносил европейские государства, ибо там «поняли пределы человеческого познания и признают величие бога» [42, 332]. Именно в этом, а вовсе не в конкретных научных достижениях, утверждал он, кроется величие западной науки. Разумеется, большинство энтузиастов изучения голландской науки не разделяли подобных взглядов — они стремились получить с Запада практическую информацию, а не трансцендентные истины.

Наука

Раньше всего японцы стали интересоваться голландской медициной, но затем, хотя и в меньшей степени, пробудился интерес к ботанике, зоологии, физике и другим областям европейской культуры. О некоторых из них уже упоминалось, из других наибольшее внимание привлекали астрономия и география.

Самое важное значение для развития японской астрономической науки в конце XVIII века имело знакомство с теорией Коперника. Еще в 1778 году философ Миура Байэн (1723—1789) услыхал от одного из переводчиков в Нагасаки о распространенной на Западе теории, согласно которой «Солнце неподвижно, а Земля движется». В 1788 году Сиба, приехавший в Нагасаки, узнал о том же [38, 1073]. Пять лет спустя он опубликовал популярный очерк теории Коперника и продолжал пропагандировать эти идеи, пока наконец в 1808 году не появился его труд под названием «Толкование астрономии Коперника». В предисловии к книге говорится о недоверии, с которым на первых порах встретили теорию Коперника в Японии, и о той решающей роли, которую сыграл Сиба, сумевший убедить японских ученых в ее правоте [43, 46]. В сочинениях Хонда упоминается о том, как, впервые увидев сделанное Си-

ба описание теории Коперника, он колебался, не решаясь поверить новой идее, но, посмотрев ряд более старых работ по астрономии, убедился в правильности этой теории. Раз и навсегда уверовав в новую теорию, Хонда с гневом обрушился на тех, кто все еще цеплялся за традиционные астрономические концепции.

«Сейчас в Европе каждый знает эту теорию, впервые созданную около двухсот восьмидесяти лет назад, а китайцы и японцы даже не имеют о ней представления. Можно понять, почему людям кажется, будто смену дня и ночи вызывает движение Солнца. Но ведь находятся и такие, которые заявляют, что Солнце каждый день новое, что оно совершает путь с востока на запад и затем исчезает вовсе. Другие воображают, будто Солнце каждый день погружается в землю, а потом вновь появляется на востоке и постепенно переходит на запад. Даже наиболее образованные люди в нашей стране попусту потратили много времени, потому что оказались неспособными принять новую истину».

Но вот в последние годы в Японию проникла европейская астрономическая наука. «Люди были поражены учением, согласно которому вращается Земля, а не Солнце, и отказывались этому верить. Даже большие ученые настолько изумлены этим открытием, что говорят: „Если бы Земля и вправду вращалась, моя чашка с рисом и с водой перевернулась бы вверх дном, а мой дом и амбар разлетелись бы на куски. Как же можно верить в такую теорию?“

Не удивительно, что сомневающихся — огромное большинство. Даже в Европе не сразу безоговорочно приняли учение Коперника. Только после того как в защиту его решительно выступили самые выдающиеся умы, все остальные постепенно признали правоту Коперника» [85, 130—131].

Против теории Коперника в основном были резко настроены реакционеры, не приемлющие всякие новые идеи, в особенности чужеземные, и буддисты, многие из которых вплоть до конца XIX века сочиняли трактаты, ниспровергавшие учение Коперника. Однако среди людей мыслящих теория Коперника встретила гораздо большее понимание, чем поначалу в Европе. Отчасти это объясняется тем, что, как указывал Г. Б. Сэнсом, «в Японии и в Китае верования никогда не были ни геоцентрическими, ни антропоцентрическими» [143,

234], а также и тем, что престиж западной науки был настолько высок, что ведущие интеллектуалы Японии с готовностью принимали любую западную теорию, какой бы странной и неприемлемой она ни казалась на первый взгляд. К 1811 году даже чиновники в далеком от центра Хакодатэ уже полностью разделяли взгляды Коперника, а еще немного спустя японцы даже заявляли, что создали эту теорию самостоятельно[13].

Большинство японцев, как не раз с огорчением отмечал Хонда, рассматривали астрономию всего лишь как средство для уточнения календаря. Интерес же Хонда к астрономии объяснялся его стремлением усовершенствовать искусство навигации, в котором так нуждалась Япония, если она собиралась в будущем торговать с отдаленными заморскими странами[14]. География также была необходима будущим мореплавателям, и потому обе эти науки тесно переплетаются в работах Хонда.

Хонда знал географию глубже и лучше большинства своих современников, но его географические познания страдают в то же время удивительными изъянами, связанными, по-видимому, с его мечтами о создании империи. Главным таким изъяном была его «теория долготы и широты», согласно которой можно точно определить климат любого места на земном шаре на основании данных о его широте и долготе. Исходя из этой посылки, он утверждал, что на Камчатке точно такой же климат, как в Англии, и что, следовательно, ее можно превратить в такую же высокоразвитую, процветающую страну. Трудно сказать, было ли это искреннее заблуждение, возникшее из-за недостатка информации, или же средство привлечения на свою сторону возможно большего числа сторонников. Другой ошибкой Хонда была непомерная переоценка размеров и ресурсов ряда островов, которые, по его мнению, должны быть

---

[13] Ученые национальной школы, проводя знак равенства между Солнцем и «божеством, правящим центром Небес» («Амэ-но минакануси-но ками»), заявляли, что теория Коперника — один из самых древних догматов синтоизма. Некоторые ученые, например Асада Горю, утверждали, что самостоятельно изобрели эту теорию [см. 73, 7 и 57; 151, 58].

[14] Хонда и его ученик, Сакабэ Кохан, часто считаются основоположниками научной астрономии и навигации в Японии; они также внесли большой вклад в развитие японской математики [см. 149; 82, 102—103].

капитан Броутон во время экспедиции на Хоккайдо, усиленно стремились получить географические карты, вычерченные японскими картографами[16]. Под руководством горячих приверженцев западной науки, таких, как Хонда, география в Японии постепенно перестала быть собранием сказок о диковинных странах и превратилась в науку, способную заслужить уважение европейцев.

---

[16] Броутон во время своей экспедиции 1797 г. пришел к мысли об отсутствии пролива между Сахалином и материком. На японских картах XVIII в. Сахалин изображался также в виде полуострова. О роли русских исследователей и японского разведчика Мамия Риндзо в открытии Татарского пролива см. в послесловии (прим. ред.).

Глава V

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ХОНДА ТОСИАКИ

Сведения о жизни Хонда Тосиаки (1744—1821), которыми мы располагаем, до огорчения скудны даже для того времени, когда о подробностях частной жизни людей писали всегда предельно скупо. Главным источником служит короткое сообщение в панегирическом стиле, написанное в 1816 году Уно Ясусада, одним из его учеников [85, 399—404]. Уно приписывает своему учителю обычные японские добродетели: Хонда был скромен в обиходе, зимой не носил теплой одежды и спал всего четыре часа в сутки. К сожалению, Уно совсем не говорит о наиболее интересном и важном — об обстоятельствах создания главных работ Хонда, о его связях с другими выдающимися современниками.

Мы узнаем, что Хонда родился на северо-востоке Японии, в провинции Этиго, куда его отцу, самураю, пришлось бежать, скрываясь от преследования за убийство. Географический фактор сыграл важную роль в жизни Хонда; интерес к северу пробудился в нем под влиянием рассказов, еще в детстве услышанных в родном краю от людей, побывавших на Хоккайдо или работавших там в летнюю пору. В «Воспоминаниях», датируемых 1792 годом, Хонда пишет:

«Я родился в северной провинции Этиго и, когда подрос, много общался с моряками и даже ходил вместе с ними в море. Я основательно изучил географию Эдзо и познакомился с нравами и обычаями айну. С тех пор

и вплоть до настоящего времени, когда у меня за плечами пятьдесят лет, я постоянно думал об освоении этого края» [85, 321].

Второй сын в семье, Хонда не должен был, как его старший брат, оставаться в Этиго, в родном доме, чтобы продолжать род. Как видно, у него рано пробудился интерес к общественным проблемам, и он решил уехать в столицу. Восемнадцати лет он прибыл в Эдо и вскоре начал изучать математику у Имаи Канэнобу, продолжателя школы Сэки Кова, самого выдающегося японского математика. Хонда также занимался фехтованием и астрономией. К двадцати трем годам он настолько преуспел в науках, что открыл собственную школу в районе Отова, где преподавал математику, астрономию, географию и геодезию [85, 400].

Но спустя некоторое время он, по-видимому, утратил интерес к этим наукам и, поручив школу своему ученику Сакабэ, почти целиком отдался изучению общественных дисциплин. Он много путешествовал по Японии, исследуя географические и социальные условия, а также проблемы снабжения в разных районах страны. Он лично общался с бандитами и ворами, стараясь проникнуть в суть причин, побудивших людей обратиться к такому промыслу, и размышлял о том, что надо сделать, дабы сохранить для страны эти понапрасну пропадающие рабочие руки и, что еще важнее, устранить сами корни, порождающие бандитизм. Повсюду он видел горе и нищету и сопутствующее им зло — убийство новорожденных детей. Единственным средством для устранения всех этих бед была, по его мнению, торговля — не только внутри страны, но и за ее пределами, со всеми народами земли.

Первым шагом к развитию такой торговли, о какой мечтал Хонда, должно было стать, по его мнению, освоение законов навигации. Стремясь расширить свои познания в этой области, он взялся за изучение голландского языка и овладел им в достаточной мере, чтобы читать и переводить книги по навигации. Но хотя в своих трудах Хонда постоянно ссылается на голландскую науку, трудно сказать, в какой степени он фактически владел этим языком. Ни один из выполненных им больших переводов не сохранился, а ряд ошибок, допущенных в некоторых других работах, заставляет предполагать, что его познания в голландском языке

были не слишком глубоки. Как бы то ни было, очевидно он мог разбираться в кратких описаниях, сопровождающих навигационные карты. Совет, который он дает начинающим изучать голландский язык, отчасти позволяет судить об уровне его знаний; лучше всего, говорит он, начинать с математических текстов. Тогда в крайнем случае можно добраться до сути, разобравшись хотя бы в цифрах.

Похоже, что у Хонда не было близких друзей среди приверженцев голландской науки. В то же время он переписывался с Татихара Суйкэн (1744—1823) и Комияма Фукэн (1764—1840), двумя либерально настроенными конфуцианскими учеными из Мито [85, 359—395]. Хонда писал им о волновавших его проблемах и в ответ получал их соображения. Татихара, наиболее талантливый, был старшим смотрителем в научно-историческом центре Мито, где в те годы создавалась «Дай-Нихонси» — монументальная история Японии. Друзья обменивались также и книгами. Очевидно, именно Татихара посылал Хонда запрещенные христианские книги, хранившиеся в Мито. В 1799 году по настоянию друзей Хонда совершил секретную поездку в Хитати, где разработал программу роста благосостояния этого края [85, 10].

В 1801 году Хонда отправился в плавание на север на судне «Рёфу-мару». Возможно, это было уже не первое его путешествие в этот край. По словам его биографа Уно, в 1784 году он добрался даже до Камчатки [85, 402][1]. В 1785 году он добился участия в экспедиции на северные острова, организованной сёгунатом, но в последний момент заболел, и вместо него поехал Могами Токунай. Во всяком случае, восторг, с которым Хонда относился к северу, благодаря чему и заслужил прозвище «Хокуи» — «Северный варвар», по-видимому, значительно поумерился после плавания на «Рёфу-мару». Его рассказ об этом путешествии, который, казалось бы, должен изобиловать описаниями чудес севера, на деле представляет собой сухое повествование, немногим отличающееся от обыкновенного вахтенного журнала. Эта внезапная смена настроения, возможно, была вы-

[1] В собственных сочинениях Хонда нет никаких указаний на посещение Камчатки в 1784 г.; похоже, что он там не был. Однако, поскольку Уно писал об этом еще при жизни Хонда, это сообщение нельзя полностью отвергать.

звана тем разочарованием, которое он испытал после того, как воочию увидел унылые острова, так рьяно превозносившиеся им ранее. В 1808 году Хонда предложили еще раз съездить на север, но он отказался, ссылаясь на преклонные годы, и настоял, чтобы вместо него отправился Могами.

В 1809 году Хонда поступил на службу к князю Кага на должность советника по иностранным делам. В его обязанности помимо прочего входило конструирование моделей военных кораблей, которые он приводил в действие на театральной сцене, имевшейся в замке. Князь Кага, по-видимому, весьма сочувствовал идеям Хонда и оказывал ему поддержку и покровительство вплоть до 1816 года, хотя Хонда фактически прослужил у него только шесть месяцев. Многие самураи из рода Кага уезжали в Эдо учиться у Хонда; среди них больше всех прославился Дзэния Гохэй (1771—1852), ставший выдающимся поборником торговли с иностранными государствами. Менее осмотрительный, чем его учитель, он погиб в тюрьме [2].

О личной жизни Хонда не сохранилось почти никаких сведений. Неизвестно даже, как звали его жену. У него была дочь, Тэцу, в отличие от отца преуспевшая в конфуцианской науке и отличная музыкантша [82, 402]. Хонда скончался в Эдо в 1821 году. Спустя сто с лишним лет после его смерти, 11 февраля 1924 года, японский двор наконец признал его заслуги. Его сочинения стали привлекать все больше внимания, и в результате ему был посмертно присвоен младший четвертый ранг.

При жизни Хонда, да и долгое время после его смерти, его главные сочинения были известны только узкому кругу друзей и учеников. Его перу принадлежит несколько памятных записок, адресованных Мацудайра Саданобу; в них изложены его взгляды на ряд проблем, включая освоение Эдзо. Эти работы, разумеется, тоже имели такое же ограниченное распространение, как и все остальные. Поэтому в свое время Хонда не

[2] Непосредственной причиной заключения Гохэй в тюрьму были неудачные попытки его сына осушить болота и превратить их в пахотную землю, но возможно, это был только повод. Его богатство и могущество, приобретенные путем смелых коммерческих операций (в том числе торговых сделок с иностранцами), вызывали зависть и ненависть [см. 34, 77—80; 146, 152—160].

пользовался известностью и в сообщениях XIX века его имя встречается крайне редко. В 1888 году одна токийская газета опубликовала в качестве приложения вариант его «Рассказов о Западе» («Сэйики-моногатари») [86, 219—223][3], а еще через три года появилось первое печатное издание его «Тайного плана для правительства» («Кэйсэй хисаку»). Совсем недавно были опубликованы некоторые другие работы Хонда, но полного собрания его сочинений до сих пор не существует. Поскольку при жизни Хонда его сочинения не увидели света, подчас трудно установить, когда написана та или иная его работа, однако бóльшая часть создана между 1790 и 1800 годами, а два главных труда завершены в 1798 году. Ниже следует список его наиболее значительных произведений, помещенных в сборнике «Хонда Тосиаки-сю», изданном Хондзё Эйдзиро[4]:

1. «Альманах Эдзо» («Эдзо сюи»), 1789.
2. «Общий взгляд на развитие Эдзо» («Эдзо тоти кайхацу гусон но тайгай»), 1791.
3. «Записки о развитии Эдзо» («Эдзо кайхацу-ни кан-суру дзёсё»), 1792.
4. «Толкование естественного правительства» («Сидзен дзидо-но бэн»), 1795.
5. «Рассказы о Западе» («Сэйики-моногатари»), 1798.
6. «Тайный план для правительства» («Кэйсэй хисаку»), 1798.
7. «О правительстве» («Кэйдзай хоган»), 1800 (предположительно).
8. «О водных путях» («Кадо»), 1800.
9. «О кораблях» («Тёкирон»), 1801.

Несмотря на большие заслуги Хонда в области точных наук, наибольшую ценность в его наследии составляют труды по экономике. Однако в отличие от работ по математике или по навигации экономические исследования Хонда долгие годы оставались неизвестными и не оказали непосредственного влияния на современников. Возможно, что его идеи все равно не встретили бы сочувствия, настолько необычны и оригинальны были они

---

[3] Издание «Сэйики-моногатари» 1888 г. стало редкостью. Отрывки, приводимые Хондзё, свидетельствуют о том, что это был упрощенный вариант подлинника, с попыткой облегчить замысловатый стиль Хонда, иногда даже в ущерб смыслу.

[4] Во Введении к «Хонда Тосиаки-сю» Хондзё дает перечень статей о Хонда и изданий его сочинений до 1936 г.

для своего времени. Однако они возникли не на пустом месте и имели предшественников. Чтобы оценить по достоинству заслуги Хонда, бросим взгляд на историю экономической мысли периода Токугава.

Экономика токугавской Японии

Два фактора определяли экономическую и общественную жизнь Японии в эпоху Токугава — длительный мир и изоляция страны. Первый фактор породил специфические проблемы эпохи, второй — препятствовал их успешному разрешению. Многочисленные авторы — ученые-экономисты того периода (и Хонда в том числе) — никогда не забывали вознести хвалу Токугава Иэясу, установившему мир, длившийся более двух столетий. Но сколь ни приятна была эта мирная обстановка, она несла в себе и серьезные противоречия.

Парадокс состоял в том, что токугавская Япония, созданная как военное государство, обрела мир более длительный, чем довелось испытать любой другой стране в мировой истории. Другой и, может быть, еще больший парадокс состоял в сохранении паразитического и все более деградирующего военного класса (самурайства), предназначенного защищать народ от несуществующих бедствий войны. Официально весь народ был разделен на четыре класса — самураев, крестьян, ремесленников и купцов (по нисходящей шкале их значимости в жизни государства). Самураи считались главными, поскольку должны были защищать страну, но при таком длительном периоде мира их военные функции стали почти бессмысленны.

Ученые требовали от самураев выполнения других обязанностей, включая просвещение простого люда, чье невежество вначале не вызывало сомнений, впоследствии же намеренно поощрялось. Самураи должны были служить образцом добродетели и умеренности для всей нации. Но по мере того как шло время, оказалось, что самураи недостойны этой высокой миссии. Мирное время они отнюдь не использовали для изучения гуманитарных дисциплин. Вынужденные проводить много времени в Эдо, они предавались всем удовольствиям, которые предоставляла столица, и, кажется, совсем не мучились угрызениями совести по поводу того, что **бросили в поместьях своих крестьян на произвол судь-**

бы, лишив их таким образом примера добродетельной жизни. Самураи не просто утратили свою руководящую роль в духовной жизни общества — привычка к роскоши часто вынуждала их залезать в обременительные долги к городскому купечеству. Когда даймё[5], продавшему свой рисовый паек, все еще недоставало денег, он облагал еще более тяжкими налогами своих и без того уже нищих крестьян. Иногда это приводило к восстаниям, в особенности в последние годы токугавского режима, но в целом японские крестьяне были смиренны и жили в вопиющей нужде.

Большинство самураев не умели найти какой-либо выход из своего затруднительного положения. Не приученные к практической деятельности, они с детства привыкли презирать любое занятие, связанное с торговлей, как низменную погоню за наживой. Таким образом, несмотря на то что по уши увязнувшему в долгах самураю при встрече с купцом на улице нередко приходилось обращаться к нему в самых почтительных выражениях, а не в резком тоне, присущем вышестоящему, всем своим воспитанием самураи были убеждены, что в переживаемых ими трудностях повинны только дельцы с их погоней за прибылью и что, если бы только все следовали их примеру и ставили честность и прямодушие превыше других соображений, все было бы в порядке, все проблемы были бы мгновенно разрешены. Это была истинно конфуцианская точка зрения; однако люди трезвого мышления, подобные Хонда, приходили буквально в ярость, сталкиваясь с такими взглядами.

Итак, самурайство могло лишь номинально считаться первым среди четырех классов. Вторым важнейшим классом по традиции считалось крестьянство, но фактически, разумеется, дело обстояло совсем иначе. Хотя крестьян всегда прославляли как «основу нации», как источник необходимых средств к жизни — одежды и пищи, на деле с ними обращались гораздо хуже, чем с ремесленниками и купцами, которые формально стояли ниже. Крестьянин был единственным постоянным налогоплательщиком в Японии, и принимались всё новые

---

[5] Даймё были, разумеется, особой категорией самураев, владельцами феодов разной величины. Авторы экономических трудов в эту эпоху редко проводили различие между рядовыми самураями и даймё, так что подчас бывает трудно определить, относится ли их аргументация в равной мере к обеим этим группам.

меры, чтобы заставить его платить больше и больше. Хотя обычно эти меры прикрывались «гуманными законами, направленными на облегчение бремени страдающих землепашцев» (и, может быть, некоторые законодатели и в самом деле верили, что действуют в интересах народа), условия жизни крестьян постоянно ухудшались. Их непрестанно призывали работать интенсивнее и больше производить, но если им случалось изредка порадоваться обильному урожаю, цены на рис падали так низко, что сводили на нет всякую прибыль, а дополнительные подати довершали остальное. Вдобавок к обычным бедам поколение 1770—1790 годов испытало серию беспримерных стихийных бедствий — извержение вулканов, наводнения, эпидемии, засухи,— которые породили жестокий голод.

А между тем этих обездоленных и нищих крестьян непрерывно призывали бросить дурную привычку к роскоши и перестать потворствовать своим прихотям. Считалось решительно недопустимым, чтобы в жизни крестьян произошли какие-либо, даже самые малейшие, улучшения. Открытие, что в крестьянских домах лежат на полу циновки, вызвало у японских экономистов XVIII века точно такие же вопли ужаса, как неограниченное потребление чая английскими крестьянами у английских авторов той эпохи [97, 9]. Другим поводом для жалоб на распущенность крестьян явилось то, что некоторые из них, не имея возможности прожить на земле, шли в город в поисках работы. Это тоже приписывалось не столько вынужденной необходимости, сколько пристрастию к роскоши. Столетием раньше Кумадзава Бандзан (1619—1691), выдающийся конфуцианский ученый, писал: «Если случится, что на пятьдесят или на сто бедных крестьянских семей есть одна или две богатые, люди обязательно говорят, что крестьяне живут припеваючи и погрязли в роскоши... Крестьян так много, что, если хотя бы один или двое из каждой деревни приходят в город, кажется, будто их очень много...» [48, 97].

Философы и экономисты обсуждали несчастную долю крестьян, но их рассуждения не выходили за рамки поверхностного сочувствия и повторения стереотипных конфуцианских формул о добродетели и честности. Хонда понимал всю бесплодность подобных рассуждений и пытался найти какую-то формулу, более способную

обеспечить процветание страны, чем старое изречение «Работай больше, расходуй меньше». Это проверенное временем изречение само по себе было, может быть, не так уж плохо, но, за исключением крайне редких случаев, когда поместьем управлял человек толковый и просвещенный, никакой, даже самый изнурительный труд и строгая бережливость не могли облегчить тяжелую крестьянскую участь, да и вообще облегчение считалось вовсе не обязательным.

Третий класс, ремесленники, занимал менее важное место и потому вызывал меньше дискуссий. Они считались «горожанами» (тёнин), так же как и купцы; тем самым большая часть обвинений в адрес купцов переносилась частично и на ремесленников. Тем не менее принято было считать, что, поскольку ремесленники все-таки создают какие-то материальные ценности, они не так вредны для общества, как купцы, помышляющие только о том, чтобы загребать деньги. Но все же борьба против излишеств в быту затрагивала и ремесленников, так как большинство предметов роскоши, за исключением некоторых импортных товаров, производилось именно этим классом. Только немногочисленные авторы решались критиковать ограничительные законы сёгуната — эту, в сущности, единственную экономическую политику, признаваемую конфуциански настроенными правителями. По мнению этих авторов, деньги, истраченные на приобретение предметов роскоши, попадают в руки ремесленников и, следовательно, не выброшены на ветер. Так, один из них (безвестный ронин по имени Ямасита Конай) писал: «Правительство запретило изготовлять золотую и серебряную фольгу, запрещено также изготовлять чрезмерно роскошные игрушки и куклы. Почтительно осмелюсь заметить, что это неразумные меры, которые вскоре приведут Японию к упадку. Если мне дозволено будет предположить, чем вызваны такие распоряжения, то причина их, как мне кажется, кроется в твердом убеждении правительства, будто излишество порождает нищету и тратить фольгу на такие бесполезные предметы, как детские игрушки,— значит понапрасну расходовать золото и серебро. Но ведь люди, готовые дорого заплатить за такие изделия, не бедняки — они знатны и богаты, и, таким образом, продажа подобных изделий способствует обращению денег» [48, 130].

С современной точки зрения и сторонники ограничительных законов, и люди, верящие, что пристрастие к роскоши может принести общественную пользу, в сущности, мало отличаются друг от друга. Зато позиция Хонда в этом вопросе удивительно самостоятельна: он понимал, что правитель должен либерально относиться к ремесленникам и покровительствовать их трудам, не только потому, что такая политика способствует обращению денег, но также и потому, что поощрение производства предметов роскоши способствует увеличению пригодных для экспорта товаров.

Самым бесправным членам общества — купцам, служившим мишенью для гневных филиппик со стороны буквально каждого правителя и философа,— удалось тем не менее стать к концу XVIII века самым могущественным классом в государстве. Напрасно правительство принимало законы, ограничивающие права купцов; если им запрещали носить шелковую одежду, они еще больше украшали свое платье, сшитое из хлопчатобумажной ткани. Литература, театр и искусство этой эпохи стремились угождать вкусам купечества. Возникла даже специальная философия, предназначенная для этого класса,— так называемое «учение сердца» («сингаку»), доказывавшее, что купцам тоже свойственно великодушие и чуждо чрезмерное стремление к наживе[6].

Впрочем, эти доктрины не оказали сколько-нибудь заметного влияния на поведение большей части купечества, и к концу XVIII века критика в их адрес стала еще более резкой. «Единственная функция горожан состоит в том, чтобы выкачивать самурайские рисовые пайки»,— говорил Хаяси Сихэй; другой автор называет их «жучком-вредителем государства» [48, 214]. Это было уже нечто новое в оценках купечества. Раньше купцов презирали за стремление к наживе, но все-таки не считали полностью бесполезными.

Хотя все без исключения авторы сокрушались по поводу алчности и вообще низменной натуры, якобы свойственной всем купцам, только немногие предлагали какой-либо оригинальный выход из создавшегося тяжелого положения. Некоторые полагали, что самураям

---

[6] Основателем школы «сингаку» был Исида Байган (1685—1744). Об учении Исида см. Беллах [93, 133—177].

следует взять на себя функции купцов, искренне веря, что врожденная честность и правдолюбие класса воинов не позволят им перенять порочные нравы торгашей. Хонда разделял эту довольно наивную точку зрения, но считал, что все жизненно-важные функции в обществе должны перейти от порочных купцов не к добродетельным самураям, а к самому правительству. Только правительство, считал он, может достойно их выполнить. Возможно, его взгляды кажутся нам не совсем практичными, однако они все-таки заслуживают гораздо большего внимания, чем морализирующие сентенции других авторов XVIII века.

Структура Японии с разделением всего общества на четыре класса, несмотря на всю ее несправедливость и порочность, одобрялась авторами всех оттенков политических взглядов — от самых консервативных конфуцианцев до таких вольнодумцев, как Хонда. Нередко выдвигались даже новые проекты, направленные на упрочение этой жесткой структуры, делившей весь народ на самураев, крестьян, ремесленников и купцов. Однако в действительности постоянно происходило смешение классов, и это невозможно было предотвратить. Крестьяне стремились в город, превращались там в ремесленников и купцов, а самураи, чтобы поправить свое бедственное финансовое положение, либо женились на купеческих дочерях, либо сами начинали заниматься торговлей. Такая подвижность классов была возможна потому, что разделение на классы покоилось на чисто политической, а не на религиозной основе. Выходец из самой бедной крестьянской семьи мог подняться на самый верх общества (хотя это было, разумеется, чрезвычайно трудно). В то же время разорение и социальное падение некогда знаменитых самурайских фамилий стали характерным явлением в истории эпохи Токугава.

Над всеми четырьмя классами стояло правительство, рожденное феодальным строем и все еще сохранявшее множество феодальных атрибутов, однако, по существу, управлявшее централизованным государством нового времени. В первой половине XVIII века решающее слово в правительстве все еще принадлежало сёгуну, члену семейства Токугава, пришедшего к власти после сражения при Сэкигахара в 1600 году. Власть правительства (сёгуната) распространялась на всю страну, но в разной степени: в Центральной Японии, в областях, распо-

ложенных вблизи столицы, она была безграничной, однако в отдаленных районах, на юге или на севере страны, подчинение сёгунату зачастую имело место лишь тогда, когда его распоряжения совпадали с волей местных князей. Для контроля над князьями был учрежден порядок, известный под названием «санкин котай», согласно которому князья были обязаны проводить известное число лет в Эдо и оставлять там свои семьи в качестве заложников. Эта система давала сёгунату еще одно преимущество — она заставляла князей нести большие расходы, так как им приходилось постоянно содержать свой двор и дома, в провинции, и в столице. Но такой порядок создавал бо́льшие трудности для мелких дворян, чем для могущественных «внешних князей»[7].

К концу XVIII века сёгун утратил непосредственный контроль над правительством — верховная политическая власть перешла в руки совета старейшин. Во времена Хонда Тосиаки наиболее колоритными фигурами в правительстве были Танума Окицугу (1719—1788) и Мацудайра Саданобу (1758—1829). Сейчас трудно дать объективную оценку личности Танума. Все исторические исследования, написанные в XVIII веке, созданы людьми, настроенными оппозиционно по отношению к Танума и желавшими угодить его преемникам. Его всегда характеризуют как человека вконец испорченного и приписывают ему изречения поистине удивительные, как, например: «Золото и серебро — сокровища столь драгоценные, что приобрести их с трудом удается ценой целой человеческой жизни. Поэтому, если кто-нибудь горит желанием послужить своему правительству настолько, что готов расстаться даже с таким сокровищем, ясно, что намерения его искренни. Степень преданности измеряется размерами подношения» [48, 194].

Правительство, возглавляемое Танума, называли «правительством взяток», а об излишествах, которым он предавался, сочинялись легенды, однако похоже, что государственный аппарат в его время, по существу, мало отличался от административных органов сёгуната в последующие годы. И тогда и позже при возникнове-

[7] «Внешними князьями» («тодзама») называли феодалов, выступавших против семейства Токугава в сражении при Сэкигахара в 1600 г. Сторонников Токугава называли «фудай» [о системе «санкин котай» см. 153].

нии экономических трудностей сёгунат прибегал к двум излюбленным средствам — к ограничительным законам и манипуляциям с чеканкой монеты. Ограничительные законы были весьма суровы, однако давали малый эффект, а понижение содержания благородных металлов в монетах порождало инфляцию. Танума, однако, не довольствовался этими оснащенными временем панацеями для лечения экономических недугов. По его приказу проводилось осушение болот и проектировалось освоение земель на Эдзо [48, 202]. Он интересовался также культурой Запада, стремясь выяснить, какие преимущества она могла бы дать Японии, и оказывал покровительство Хирага Гэннай в его занятиях западными науками. В дальнейшем он обратился к голландцам с просьбой прислать плотников из Батавии для обучения японцев строительству более крупных судов, которые могли бы совершать рейсы между Нагасаки и Осака. Исааку Титсингу, в ту пору директору голландской фактории, уже казалось, что вскоре страна, возможно, будет открыта для европейских кораблей. Японские моряки даже обучались управлению голландскими судами [98, 143].

Но Танума помешали стихийные бедствия, которые он был не властен предотвратить. Самым страшным бедствием было извержение вулкана Асама-яма в 1783 году, повлекшее за собой чудовищный голод. В 1784 году от руки убийцы пал сын Танума, и стало очевидно, что его правлению приходит конец. Народ считал правительство виновным в тех страданиях, которые причинил голод. В конце концов в 1786 году Танума был вынужден уйти в отставку.

Его преемником стал Мацудайра Саданобу, о котором мы уже неоднократно упоминали. Мацудайра открыто заявил о своем намерении вернуться к мудрой политике своего предка — Токугава Ёсимунэ. Это повлекло за собой полный отказ от всех начинаний Танума, в том числе даже явно конструктивных. Подобно Танума, Мацудайра тоже издавал ограничительные законы, но в отличие от своего предшественника предпочел, подражая Ёсимунэ, восстановить полноценную монету. Он горел таким страстным желанием возродить «добрые старые времена», что совершенно не считался с тем фактором, что его политика вызвала глубокую депрессию в городах. Его личная честность достойна

восхищения, однако острословы того времени сетовали, что «рыба не водится в чистой воде», и народ с сожалением вспоминал о порочных нравах эпохи Танума. Несмотря на личную неподкупность Мацудайра, его политика увенчалась не большим успехом, чем политика Танума, и в 1793 году он подал в отставку, пробыв у власти всего шесть лет.

Неудачи Мацудайра на политическом поприще объясняются не отсутствием личных способностей, напротив, из его сочинений видно, что это был человек большого ума. Сиба Кокан точно указал, в чем заключалась ошибка Мацудайра. «Он был мудрым и образованным, но почти не знал географии»,— писал Сиба [65, 471]. Незнание географии помешало Мацудайра продолжить шаги, предпринятые Танума,— открыть страну и осваивать Эдзо. Поэтому Мацудайра не сумел вывести Японию из экономических трудностей. До тех пор пока сохранялся запрет на торговлю с зарубежными странами, трудности, постоянно возникавшие из-за смены голодных и урожайных лет, не могли быть успешно разрешены. До тех пор пока транспортные средства оставались безнадежно отсталыми, не соответствующими потребностям страны, невозможно было покончить с вопиюще неравномерным распределением сельскохозяйственных и других продуктов. Ключом к разрешению как внутренних, так и внешних проблем Японии была география, включая смежные науки — геодезию и навигацию, как пророчески предсказывал Хонда Тосиаки. Единственным средством стабилизировать цены на рис — ведущую зерновую культуру Японии — была внешняя и внутренняя торговля в больших масштабах. Но вместо того чтобы пойти этим путем, Мацудайра, подражая примеру Ёсимунэ, пытался снижать цены на рис путем дефляции. Такой курс еще мог принести кое-какой успех в годы скудного или умеренного урожая, но если урожай выдавался обильный, дефляция способствовала чудовищному падению цен. Чтобы поднять цены, можно было прибегнуть к инфляционным мерам, но выгоды из такой противоречивой политики обычно извлекали только купцы и ремесленники, прожиточный уровень которых в отличие от крестьян и самураев не зависел целиком от урожая риса.

Другим излюбленным средством разрешения зерновой проблемы был так называемый «постоянный за-

пас»[8]. Согласно этому древнему методу правительство приобретает рис по высоким ценам в урожайные годы, хранит его и затем продает по ценам ниже рыночных, когда случается недород. Эта схема подкупающе проста, но она никогда не оправдывала себя в течение длительного периода, хотя время от времени ее пытались проводить в жизнь и в Японии и в Китае. Подобный метод может оказаться успешным только при условии, что урожаи и недороды будут следовать друг за другом в строгой последовательности. Несколько лет обильного урожая подряд истощали государственную казну, а длительный голод опустошал все запасы. Такая система требует также честной администрации, а это бывало далеко не всегда.

Последним средством, к которому вынуждено было прибегать правительство, когда цены чересчур поднимались,— это понижение цены в приказном порядке. Такие декреты дважды издавал Ёсимунэ — в 1724 и 1726 годах, но, как нетрудно догадаться, с малым практическим успехом [48, 128]. Хонда ясно показал тщетность всяких попыток регулировать цены подобным методом.

Еще абсурднее выглядела официальная интерпретация причин, вызывающих экономические трудности. Все беды объяснялись отсутствием честности у купцов. Один добрый конфуцианец писал, что если хотя бы десять процентов всех купцов приняли близко к сердцу интересы самураев и крестьян и продавали рис по низким ценам, они завоевали бы такую популярность в народе, что всем другим дельцам тоже не осталось бы ничего другого, как только снизить цены на свой товар [48, 149]. Даже Кумадзава Бандзан, человек достаточно мудрый и способный, чтобы понять, что постепенный переход от рисового к денежному стандарту целиком объясняется возросшим могуществом купечества, не мог предложить ничего лучшего для разрешения всех проблем, чем возврат к старинному рисовому стандарту [48, 110].

[8] Так называемый «постоянный средний запас», хотя и служил предметом осуждения в Китае с незапамятных времен, впервые был применен на практике в 54 г. н. э. Историю этой теории с древних времен до современности дает Бодд [96].

Предложения Хонда

Хонда Тосиаки тоже не был чужд традиционным экономическим воззрениям, авторы которых постоянно выдвигали явно устаревшие идеи в качестве абсолютно новых программ. В его сочинениях то и дело встречаются высказывания в пользу «инфляционно-дефляционных» мер, а также в защиту создания традиционных «постоянных запасов» риса. Однако, с точки зрения Хонда, все это были средства лишь временного характера. Его основная экономическая программа состояла в утверждении «четырех первоочередных потребностей», которые он перечисляет в сочинении «Секретный план для правительства» и формулирует следующим образом: «порох, металлы, мореплавание и колонизация». Отдельно взятые, эти слова недостаточно объясняют стремления Хонда. Взрывчатые вещества привлекали его внимание не столько в силу их прямого военного назначения, сколько в силу возможности применить их при прокладке нового русла рек и строительстве каналов, что входило в его планы улучшения транспортных средств и борьбы с наводнениями. Говоря о металлах, Хонда имеет в виду как драгоценные металлы, которые он в духе идей меркантилизма стремился сосредоточить в Японии, так и обычные, более широкое использование которых уменьшило бы, по его мнению, потери от огня и гниения. Однако ключевыми пунктами его теории являлись мореплавание и колонизация, поэтому мы рассмотрим их более подробно.

Хонда самостоятельно (а может быть, под влиянием Хаяси Сихэй) пришел к убеждению, что Япония должна полностью осознать свое положение островного государства и покончить с подражанием традициям континентального Китая. Хаяси, настаивая на этом, в первую очередь подчеркивал необходимость создания военно-морского флота и овладения военно-морской тактикой. В отличие от него Хонда делал упор на блага, которые принесет торговое мореплавание. Процветание Голландии и Англии — морских держав — убедило его, что только внешняя торговля способна создать в Японии стабильную и преуспевающую экономику. Такая торговля нуждалась в достаточно мощных и больших кораблях, способных выдержать долгое плавание, требовала знания навигации, которое позволяло бы японским капитанам

вести свои суда в любой порт мира. Благодаря такой торговле Япония сумела бы, по любимому выражению Хонда, «получить то, чего у нас нет, в обмен на то, что у нас есть».

Хонда считал, что судоходство должно находиться в руках государства. По его мнению, было позором для Японии, что жизнь народа зависит от милости купцов; ведь, будь их воля, владельцы судов, ежедневно снабжавшие город Эдо рисом, уморили бы голодом всю столицу. В отличие от купцов правительство, по мнению Хонда, будет действовать в интересах народа, используя принадлежащие ему суда для доставки риса из сельскохозяйственных районов страны в города. Хонда видел, что избыточный урожай зерна в какой-либо части Японии нередко оставался гнить на корню, в то время как в другом районе страны свирепствовал голод. Это вызывалось двумя причинами: малым количеством судоходных рек (что следовало исправить, расширив русла и убрав преграждающие судам путь скалы с помощью взрывчатых веществ) и нехваткой судов. Устранив обе эти помехи, правительство могло бы перебрасывать излишки зерна туда, где ощущалась в этом нужда, облагодетельствовав таким образом и земледельцев, которые в противном случае терпели убытки, и голодающих в районах, где случился неурожай.

Все эти меры, утверждал Хонда, облегчат существующее трудное положение, а улучшение жизни народа приведет к росту населения, так как устранятся причины детоубийства. Но даже если каждый клочок земли будет распахан и обработан, продовольствия все равно не хватит на всех, ибо размеры земли ограниченны, а население способно возрастать беспредельно. Единственный путь к решению проблемы — приумножение пригодных для сельского хозяйства земель путем экспансии, направленной сперва на ближние, некогда японские, острова, такие, как Курилы и архипелаг Бонин, а затем на Камчатку, Алеутские острова и в Северную Америку. Сейчас эти области находятся под властью России и других иностранных держав, но Япония географически расположена к ним гораздо ближе, ей намного удобнее править этими землями, и потому не так уж трудно вновь вернуть то, что утрачено из-за собственной нерадивости... Япония должна стать империей; вот тогда она достигнет беспримерного процветания. Столицу Японии надо пере-

нести на Камчатку, потому что последняя лежит в центре будущих владений, а также еще и потому, что потенциально Камчатка богаче, чем сами Японские острова. Продовольствие и разнообразные другие товары из доминионов потоком хлынут в Японию в обмен на блага цивилизации, которые принесут японцы. И тогда Японию с полным правом назовут владычицей Востока, равноправным партнером Англии, ведущей западной державы...

Как видно из перечня «четырех первоочередных потребностей», планы Хонда совсем не похожи на традиционный конфуцианский призыв к «усердному труду, честности и умеренности». Конечно, он не отвергал старые концепции целиком. Он считал необходимым по-прежнему сохранять деление общества на четыре класса. Но это не мешало ему утверждать, что определяющим моментом при назначении на официальную должность должны стать личные достоинства, а не происхождение. Его резкая критика купечества похожа на аналогичные суждения других авторов того времени, но при этом он признавал необходимость торговли. По мнению Хонда, дело не в том, чтобы призывать к добродетели нечестных дельцов или вернуться к эпохе, когда люди не знали денег, а в том, чтобы поставить всех торговцев под строгий государственный контроль. Что касается крестьян, то к ним он относился сочувственно, так как был непосредственно знаком с их нелегкой долей.

Хонда отличается от других авторов той эпохи, писавших на экономические темы, прагматическим подходом к явлениям. Его всегда заботила главным образом практическая польза, которую может принести та или иная политика. Это ни в коей мере не означает, будто он был безразличен к морально-этическим вопросам, но, с его точки зрения, правителю явно недостаточно одного лишь глубокого познания конфуцианской премудрости. Он считает, что государственный деятель должен обладать также глубокими научными знаниями, должен быть знаком с новейшими достижениями культуры. Именно поэтому он превозносил русскую императрицу Екатерину, ставя ее выше всех мудрых императоров Китая и знаменитых полководцев Японии. Хонда имел весьма искаженное представление о жизни и личности этой императрицы, но из его работ ясно видно, какие добродетели он ей приписывал. В этом нетрудно убе-

диться из якобы имевшего место эпизода, который он дважды приводит в своих сочинениях. Около двадцати лет назад, повествует Хонда, русская императрица узнала, что в одном из сибирских озер каждую осень вода выходит из берегов и затопляет местность. Она немедленно обратилась с воззванием к народу, прося высказать предложения, которые помогли бы избавиться от этого бедствия. Нашелся человек, заявивший, что знает, как это сделать, и Екатерина удостоила его аудиенции. «Тебя послало мне Небо!» — воскликнула она, ознакомившись с планами этого человека, дважды поклонилась небу, отдала все необходимые распоряжения министрам и удалилась в свой дворец [9]...

Вот истинный образец правителя-деятеля! Стоило Екатерине узнать о чем-либо причиняющем убытки ее народу, как она немедленно искала путь для устранения этих недостатков, ради чего апеллировала ко всей нации. Она поощряла способных людей не только из числа приближенных, но и из низших классов, призывала их давать советы и предложения. Если же, выслушав мнение мудрого человека, она приходила к заключению, что его планы осуществимы, она тотчас же предоставляла средства для их претворения в жизнь. Таким образом, Екатерина не только искренне интересовалась делами своего народа, но и подкрепляла эту заинтересованность практическими шагами. Неудивительно, заключает Хонда, что русские владения стали теперь так обширны, что включают Камчатку и Курилы! России принадлежит полсвета, и бóльшая часть этих владений добыта не оружием, а мудростью императрицы Екатерины...

«Подлинные владения завоевывают делами добродетельными. Страны, вынужденные подчиниться силе оружия, в глубине души остаются непокоренными».

Хонда рассуждает о том, как могла бы Япония последовать примеру России, разделяя этот вопрос на три важнейших аспекта — внешнюю торговлю, проблему народонаселения и колонизацию.

---

[9] Хонда приписывает императрице Екатерине много любопытных подвигов, якобы совершенных ею, в том числе покорение Татарии армией роскошно одетых амазонок, предводительствуемых ею самой [см. 85, 103].

Внешняя торговля

Как уже говорилось, к концу XVIII века внешняя торговля Японии сводилась к торговым сделкам с Голландией и Китаем. Что касается торговли с некоторыми другими странами, например с Аннамом или Сиамом, то никаких принципиальных запретов на нее не было. Однако торговля с Японией стала все меньше интересовать иностранцев. Единственной статьей японского экспорта, представлявшей ценность, была медь. Тунберг отзывался о японской меди как о самой высококачественной в мире, содержащей много золота. Впрочем, с момента появления (около 1708 года) работы Араи Хакусэки «Краткое сообщение о металлических деньгах» японские интеллектуалы все более неодобрительно относились к вывозу этого металла за пределы страны. В своей работе Араи приводил явно преувеличенные данные о количестве золота, серебра и меди, вывезенных из Японии за границу, и сокрушался об оскудении запасов этих металлов, называя их «костяком страны», который, будучи однажды поврежденным, никогда не восстанавливается [3; 135, III, 266]. Хонда принимал на веру и цифры, и выводы Араи. К его времени правительство строжайше ограничило экспорт меди, но Хонда считал недопустимым, чтобы даже самое малое количество этого металла, обладающего непреходящей ценностью, шло в обмен на недолговечные безделушки, которые привозили голландцы или китайцы.

Но и независимо от отношения к торговле медью Хонда не придавал большого значения сделкам с иностранцами в Нагасаки, так как считал коммерцию, которая там велась, в принципе отрицательным явлением. Он был убежден, что нельзя довольствоваться теми товарами, которые привозят в Японию иностранцы, что, следуя примеру Европы, Япония должна сама искать торговые возможности во всех уголках земного шара. Первые шагом в проведении такой активной внешней торговой политики должно стать, по его мнению, заключение торгового соглашения с Россией. «Надлежит точно определить места на Итурупе и Кунашире, где бы японскими товарами торговали в обмен на русские. Так установятся мирные торговые отношения, которые помогут нам лучше узнать русский народ и его страну, что, несомненно, сослужит нам пользу» [85, 38].

В свое время Кудо Хэйскэ, предвосхитивший Хонда в желании наладить торговлю с русскими, писал: «Торговля с русскими может действенно способствовать развитию Эдзо. Если бы удалось поставить Эдзо под японский контроль, все, чем богат этот край, включая драгоценные металлы, стало бы нам доступно. Но, разумеется, торговля с Россией не должна ограничиваться районом Эдзо. Нагасаки и все другие важнейшие порты страны должны тоже быть открыты для торговли с Россией» [28, 600] [10].

Предложение Кудо об открытии всех главных портов Японской империи для русских кораблей было весьма прогрессивным, но по своей сути коренным образом отличалось от представлений о внешней торговле, которые отстаивал Хонда.

Хонда обращал свой взгляд в прошлое, когда японские корабли посещали страны Юго-Восточной Азии, и горько оплакивал позднейшие законы, погубившие японское торговое мореплавание. Торговля должна осуществляться с помощью японских судов — вот что было для Хонда главным. Он заботился не о престиже — транспортировка товаров по морю давала большие выгоды. Вопрос о том, будет ли Япония открыта для иностранных судов или по-прежнему останется закрытой страной, мало волновал Хонда. Он был заинтересован только в одном: Япония должна воспользоваться тем преимуществом, что иностранные порты в других странах открыты для всех судов. Он в полной мере отдавал себе отчет в трудностях отыскать подходящие для экспорта японские товары, поскольку отправлять за границу медь было запрещено. И вот как он предлагал решить эту задачу: «Нужно приложить все усилия, считая это составной частью государственной политики, чтобы содействовать производству в нашей стране изделий, изготовленных с большим искусством. Это явится поощрением для отдельных производителей, и в результате повысится качество японских товаров. Тогда в нашей стране будет производиться множество товаров, прославленных своим совершенством. Это по-

[10] Кудо считал свободную торговлю гораздо лучшим средством для ликвидации контрабанды, чем конфликты между кланом Мацумаэ и русскими. Торговля с русскими, считал он, может также способствовать снижению цен, назначаемых китайцами и голландцами на свои товары [30, 219].

может нам получать прибыль в торговле с иностранными государствами» [85, 58] [11].

Хонда мечтал увидеть Японию передовой страной, экспортирующей готовые изделия, а не сырье — единственный товар, который может предложить для торговли менее развитая страна. В отличие от него Сиба Кокан считал, что торговля с Россией даст Японии хорошую возможность с прибылью продавать за границу избыточный японский рис. Чтобы подтвердить несостоятельность попытки планомерно распределять рис, когда он имеется в изобилии, Сиба цитирует китайского философа:

«Хуай Нан-цзы писал: „Не следует продавать рыбу у озера и торговать дровами в лесу, ибо там более чем достаточно и того и другого".

Поскольку за границей нет риса, нужно нагружать бóльшие суда и продавать рис России и другим странам. Таким способом нам удалось бы получать товары из других стран, например лекарства или какие-либо ценные изделия, которых не имеет Япония» [66, 104].

Хонда отличался от Сиба также и в оценке тех благ, которые принесет внешняя торговля Японии. Он интересовался не столько натуральными продуктами или промышленными изделиями других стран, сколько драгоценными металлами — сокровищем, имеющим непреходящую ценность. Он детально описывает процветание амстердамского порта, особенно подчеркивая большое количество кораблей, возвращающихся из-за границы (в том числе из Японии) с грузом золота, серебра и высококачественной меди. Решающее значение, которое придавал Хонда драгоценным металлам, вызывает в памяти идеи меркантилизма, все еще популярного в Европе в те времена. Нельзя не отметить почти буквального совпадения его идей с определением меркантилизма как «серии доктрин, придававших чрезмерное значение драгоценным металлам, внешней торговле, увеличению численности населения и государственному руководству экономической политикой» [117, 3] [12]. Невольно мелькает мысль: уж не почерпнул ли Хонда свои теории из европейских источников? — но, по-видимому, такое предпо-

[11] Во время правления Танума «потребление внутри страны морских продуктов, могущих служить товаром для экспорта, было строго ограничено» ради приобретения иностранной звонкой монеты [113, 86].

[12] Танума действительно удалось добиться притока золота и серебра из-за границы в уплату за японские товары [см. 113, 86].

ложение будет ошибкой. Его стремление получать как можно больше драгоценных металлов из-за границы идет в одном русле с опасениями Араи, указывавшего, что, торгуя с Голландией и Китаем, Япония лишается своего серебра и меди. Другие моменты его теории, сближающие ее с европейским меркантилизмом, также имеют вполне японское происхождение. Оригинальное и вполне самостоятельное мышление Хонда соединило их в стройную и логически обоснованную систему. Для Европы XVIII столетия меркантилизм стал уже старой сказкой, но для Японии тех лет он был великим открытием.

Население

Свои взгляды по вопросу о населении Хонда подробно развивает в «Рассказах о Западе». Говоря суммарно, он считал, что население в Японии может увеличиваться в 19,75 раза каждые 33 года. Таков, по его мнению, должен быть естественный прирост населения, и только несовершенство в управлении страной удерживает пропорцию на более низком уровне. Если бы родители были больше уверены в обеспеченном будущем для своих детей, не было бы ни абортов, ни убийства новорожденных, в результате которых снижается прирост населения. Рост населения, писал Хонда, обгоняет рост продовольственных ресурсов, так что в скором времени Япония будет вынуждена получать продукты первой необходимости из-за границы как посредством торговли, так и посредством колонизации. Иными словами, конечный облик Японии рисовался Хонда в виде сильного промышленно развитого государства, в виде империи, ввозящей продовольствие из колоний.

Теория населения Хонда заслужила ему прозвище «японского Мальтуса». Его воззрения несколько напоминают также теорию Хун Лян-чи, прозванного «китайским Мальтусом». Труды англичанина и китайца позволяют нам, однако, понять оригинальность воззрений Хонда и убедиться, что называть его «японским Мальтусом» было бы несправедливо.

Свой первый труд — «О населении» — Мальтус опубликовал в 1798 году, в том самом году, когда Хонда завершил «Рассказы о Западе». Мальтус считал, что при

ничем не ограниченном приросте население удваивается каждые 25 лет, т. е. растет в геометрической прогрессии, в то время как средства к существованию увеличиваются лишь в арифметической. По мнению Мальтуса, сдерживающими моментами, препятствующими такому росту, являются нищета и порок. Вначале он не признавал никаких других возможностей для сдерживания роста населения, хотя в дальнейшем допускал возможность «превентивного контроля», возникающего в результате «превосходства человеческого разума, позволяющего людям предвидеть отдаленные последствия своих действий» [132, I, 12]. В молодых странах, таких, как недавно возникшие Соединенные Штаты Северной Америки, предсказанный Мальтусом рост населения действительно имел место. «В конце концов,— заключает Мальтус,— индейцев будут оттеснять все дальше в глубь страны, пока полностью не истребят всю их расу и не останется земли, позволяющей дальнейшее продвижение» [132, I, 8]. Согласно его теории, приобретение и освоение колоний всего лишь слабая временная мера для разрешения проблемы, в сущности безнадежной, даже если бы в эти колонии добровольно согласились переселиться не только отбросы нации, но и полноценные люди. Не выручит и самое жестокое отношение к туземцам — естественный прирост населения все равно очень скоро приведет к заполнению любой вновь приобретенной территории, и положение опять станет приблизительно таким же, как раньше...

Нарисовав столь мрачную картину, Мальтус не предлагает никакого решения вопроса, кроме разве надежды, что со временем чаще будет применяться «превентивный контроль». Зато он подчеркивал нежелательность всякого вмешательства со стороны правительства в естественный контроль, возникающий из-за нищеты и порока. Любые законодательные меры, направленные на облегчение жизни детей бедняков, приведут лишь к обострению проблемы, утверждал он. «Я полностью освобождаю мистера Питта от всяких серьезных намерений облегчить участь бедняков, которые выражены в его „Билле о бедных", в пункте, предусматривающем выплату пособия в размере одного шиллинга в неделю каждому рабочему за каждого ребенка сверх троих» [133, 134]. Этими словами Мальтус подчеркивал, что стремление Питта спасти умиравших от голода детей

продиктовано в лучшем случае полнейшим невежеством и тупостью.

Свои выводы Мальтус подкрепляет многочисленными примерами из истории разных стран. По его мнению, в Японии и в Китае земля уже обрабатывается так интенсивно, что в этих странах нет никаких перспектив для существенного увеличения производства продуктов питания. Каким же образом, удивлялся он, может прокормиться огромное население Китая? Вместо ответа он одобрительно цитирует высказывание одного ученого-миссионера, писавшего: «Несмотря на величайшую умеренность и трудолюбие жителей Китая, значительное число их живет в великой нужде» [133, I, 215]. Отсюда Мальтус приходил к выводу, что естественный контроль, создаваемый нищетой, в сочетании с порочной практикой детоубийства ограждают население Китая от чрезмерного роста.

Хун Лян-чи, исходивший в своей теории не столько из опыта мировой истории, сколько из личных наблюдений, пришел примерно к тем же выводам, что и Мальтус. Свои взгляды он изложил в трактате «Мир» (1793). Как явствует из заглавия, Хун связывает угрожающий рост населения с периодами слишком долгого мира. Он пишет: «Нет и не было такого народа, который не любит мира, нет и не было народа, который не хотел бы, чтобы мир длился вечно. Вот уже сто лет, как не было войн, и можно сказать, что мы живем в период долгого мира. Если же обратиться к вопросу о населении, то мы увидим, что оно выросло в 5 раз по сравнению с тем, что было 30 лет назад, и в 10 раз по сравнению с тем, что было 60 лет назад. А если мы начнем сравнивать с временами еще более отдаленными, то увидим, что за 100 лет население выросло не меньше чем в 20 раз» [90, 48].

В качестве образного примера Хун пишет о богатом крестьянине, живущем в собственном большом доме и владеющем сотней акров земли. По мере того как будет увеличиваться его семья и добавляться слуги, ухаживающие за детьми, дом станет невыносимо тесным и продуктов земли уже не хватит для всех. Тем, кто утверждал, что наводнения, засухи, эпидемии всегда будут естественной преградой на пути к чрезмерному росту населения, Хун возражал, что от таких бедствий страдает не более одного или двух человек из десяти. Дру-

гим своим оппонентам, доказывавшим, что мудрые правители могут способствовать освоению новых пограничных земель и что эти земли смогут дать дополнительные продукты питания, Хун отвечал, что забота добрых правителей и меры, предпринимаемые ими для народного блага, как бы хороши они ни были, приведут лишь к еще большему росту населения. В заключение он пишет: «Таким образом, можно сказать, что, когда царит долгий мир, Земля и Небо не могут не порождать людей, количество же продуктов, создаваемых Землей и Небом, никогда не будет равно численности людей. Во времена долгого мира государи и министры не могут удержать народ от воспроизводства, и то, что предоставляет правительство как прожиточную норму для народа, не может удовлетворить его потребность» [90, 49].

Такие взгляды — исключительное явление в Китае, где большое население всегда считалось весьма желательным. Поразительно современным выглядит также предположение Хуна о том, что народ может пострадать физически и духовно, если каждая семья будет иметь слишком много детей. Но разумеется, его короткое эссе не имело такого эпохального значения, как труды Мальтуса. Оно носило скорее характер мудрого наблюдения, чем проповеди или предсказания будущего. Хун спокойно излагает мысли, указывая на парадоксальное противоречие между идеалами мира и бедствием, которое может принести этот мир, и идет в рассуждениях дальше [13].

Работа Хонда, посвященная вопросу о росте населения, написана пятью годами позже работы Хуна, но ничто не дает нам основания предположить, что китайский автор оказал на него какое-либо влияние. В своих взглядах Хонда исходил из совсем другой действительности, нежели Хун или Мальтус. С начала XVIII века численность населения Японии оставалась на одном уровне, а если в иные годы она временно и увеличивалась, то голод и другие бедствия обычно вскоре сводили на нет этот временный прирост. За этот период крестьянское население, пожалуй, даже уменьшилось. Убийство новорожденных было так широко распространено

[13] В качестве контрмер Хун предлагал запрещение роскоши, всяческое ограничение деятельности и численности буддийских и даосских монахов, освоение новых земель; однако он, по-видимому, не считал эти меры радикальными [см. 131].

на севере страны, что там в крестьянских семьях, как правило, вырастал только один или двое из всех родившихся в данной семье детей. Крестьянство тяжело страдало от голода, и в период между 1770 и 1790 годами его численность значительно сократилась. Таким образом, в Японии времен Хонда проблема перенаселенности не могла, судя по всему, заботить умы в той мере, как это имело место в Китае. Беспокоил скорее численный рост непроизводительного населения — самураев и купцов, — что являлось результатом тех жестоких мер по ограничению рождаемости, к которым приходилось прибегать обнищавшим крестьянам. Хонда понимал это и надеялся, что предложенные им меры помогут естественному росту крестьянского населения. Но мысленно представив себе возможный рост населения, он увидел, что в этом случае в будущем земля Японии не сможет накормить каждого. Такая перспектива отнюдь не приводила его в уныние, как Мальтуса; напротив, Хонда видел в этом стимул к расширению японских владений и созданию империи.

Отправным пунктом теории Хонда, так же как и у Хуна, была проблема долгого мира, но подтекст у него был совсем другой.

«Всегда, где бы ни был длительный мир, супружеские пары начинают тревожиться, смогут ли они содержать большую семью, опасаясь, что, если у них будет много детей, нечего будет оставить им в наследство, и тогда родители решают заранее принять меры предосторожности, потому что это лучше, чем производить детей, которым будет очень нелегко жить на свете. Когда у супругов рождается ребенок, они тайно уничтожают его, иносказательно называя этот поступок „прополка“. Больше всего этот обычай распространен в тринадцати провинциях от Канто до Оу (т. е. на большей части Северной и Восточной Японии). Это дурной обычай, неизбежно возникающий во времена долгого мира. Он проистекает также из-за отсутствия всякого руководства со стороны правительства.

Нет проблемы, более важной для государства, чем исправление подобного положения вещей. Если оставить без внимания этот вопрос, то по мере того как длится мир, все больше будет возрастать число самураев и соответственно укореняться их привычка к роскошной жизни. То же относится и к купцам. А по мере роста

численности этих двух классов будет увеличиваться и количество священников, ремесленников и, вообще, всякого рода тунеядцев. А это означает, что крестьянам будет все труднее прокормить всех этих людей. Наконец, наступит момент, когда для самураев, купцов, ремесленников и тунеядцев не хватит пищи. Тогда, очевидно, не останется ничего другого, как еще больше угнетать крестьян, положение которых станет окончательно бедственным.

Пригодная для обработки земля имеет предел. Есть предел и количеству риса, который можно выращивать каждый год. Есть и пределы податей, которые платят люди, и пределы количества риса, которое должно остаться у крестьян после уплаты податей. Можно, конечно, попытаться распределить это ограниченное количество риса так, чтобы оно удовлетворило весь народ, но такие попытки обречены на провал, потому что количество самураев, купцов, ремесленников и тунеядцев все время непрерывно растет» [85, 183—184].

Хонда предлагает решить проблему с помощью государственного пособия: согласно его проекту каждая крестьянская семья должна получать бесплатно два мешка риса в год на каждого ребенка до 15-летнего возраста, т. е. пока он не станет полезным для страны. Он предлагает также разного рода улучшения и преобразования (они перечислены во втором разделе «Тайного плана для правительства») на землях, находящихся ныне в упадке, в результате чего эти области должны превратиться в цветущий край. В конечном итоге, пишет он, после того как правительство осуществит на практике его программу, состоящую из «четырех первоочередных потребностей», наступит всеобщее процветание и население будет расти в 19,75 раза каждые 33 года. Эту ошеломляющую цифру Хонда вывел путем весьма простого расчета. Он начинает с двух супружеских пар, где мужьям 15, а женам 13 лет. Если каждые два года у них будет рождаться один ребенок, то через 33 года (после чего женщина уже более не способна к деторождению) в каждой семье будет по 17 детей, мальчиков и девочек. Эти дети, переженившись между собой, к исходу 33-летнего срока в свою очередь произведут 45 внуков для первых двух пар. Таким образом, четверо людей, первоначально вступивших в брак, получат потомство общим числом 79 человек (детей и внуков, воз-

можные правнуки в расчет не включаются). Это означает прирост в 19,75 раза [85, 186] [14].

Трудно поверить, что Хонда действительно верил в возможность «естественного прироста», выраженного такими цифрами. Очевидно, в этом расчете, так же как и в некоторых других положениях его работы, пропагандист взял верх над мыслителем. Подобно тому как он восхвалял благодатную природу Камчатки вопреки всему, что он мог прочесть об этом суровом крае, так и на этот раз стремление завоевать как можно больше сторонников побудило его выдвинуть эту явно завышенную цифру как норму рождаемости. Интересно сравнить подсчеты Хонда с более консервативными взглядами Мальтуса, утверждавшего, что ничем не сдерживаемое население может удваиваться каждые 25 лет (к этой цифре он пришел после тщательного изучения данных переписи). По сравнению с данными Мальтуса теория населения Хонда носит чисто умозрительный характер, так же как и рассуждения Хун Лян-чи, однако в отличие от последнего Хонда не удовлетворялся простой констатацией фактов. Его главные помыслы были подчинены обоснованию четвертой и последней из «четырех первоочередных потребностей», т. е. колонизации. Заведомо неправильные расчеты прироста населения Хонда использовал просто как средство для подкрепления своих главных мыслей.

Колонизация

Ни одному вопросу Хонда не уделял такого внимания, как проблеме колонизации, которую он называл «первым долгом правителя». Образцом для него служила Англия.

«Некоторые из процветающих стран Европы сами имеют малую площадь, но зато обладают обширными владениями; такие страны называют „великими“. Среди них на первом месте Англия, страна размером примерно такая же, как Япония» [85, 170]. Он перечисляет затем колонии Англии в разных частях света и блага, которые стекаются в Англию из этих колоний. Далее Хонда опи-

[14] Хонда, очевидно, несколько ошибся в своих подсчетах. Идеальное сочетание двух пар может произвести 50 внуков, т. е. в конечном счете 84 человека (детей и внуков, не считая правнуков).

сывает также и чудеса самой Англии, причем между строчек сквозит мысль о том, что нет никаких причин, почему бы Японии не пойти по стопам Англии, чтобы добиться такого же процветания.

Хонда обрисовал порядок, которого следует придерживаться, осуществляя колонизацию:

«Сперва нужно послать корабли, чтобы точно определить местоположение островов, которыми мы намерены завладеть, и измерить их площадь. Затем обследуются природные данные, причем местному населению оказывается полное уважение. Потом, когда будет ясно, сколько провинций можно образовать на островах, начинается основной этап колонизации. Если туземцы все еще обитают в пещерах, надо научить их строить дома. Для племенных вождей надлежит построить жилища. Следует снабдить туземцев необходимыми инструментами и разной утварью. Помогая туземцам и снабжая их всем, в чем они нуждаются, мы завоюем их признательность и добьемся их послушания. Они будут относиться к нам так же, как дети к своим родителям. В этом можно не сомневаться, ибо, несмотря на то что они считаются дикарями, им свойственны те же чувства, что и прочим людям во всем мире» [85, 40] [15].

Затем Хонда перечисляет выгоды, которые получат колонисты в качестве компенсации за свои труды и хлопоты.

«Расходы, связанные с колонизацией, можно будет возместить, добывая природные ископаемые и получая продукты, которыми богаты эти острова, и перевозя их морем в Японию. Торговля — вот путь к покрытию всех расходов. Даже дикари не рассчитывают получить благодеяния, ничего не давая взамен. Продукты, которые они отдадут колонистам, станут первой формой податей. Поскольку на каждом острове есть леса, древесина всегда будет источником доходов в течение долгих лет. А ценность других продуктов даже трудно определить. Задача отцов-правителей — направлять и обучать туземцев, с тем чтобы никто из них ни единого дня не проводил в праздности. Это дело не терпит ни малейшего отлагательства» [85, 40—41].

---

[15] На подобные утверждения Хонда, вероятно, натолкнули сообщения об успехах русских в завоевании симпатий коренного населения Курильских островов [см. 39, 354; 382].

Смелые планы эксплуатации туземцев, предложенные Хонда, посрамили бы любого его европейского современника. Он, правда, не настаивал на том, чтобы нести свет учения синто прозябающим во мраке невежества туземцам, но зато был совершенно уверен, что блага японской культуры достаточно велики, дабы заставить местных жителей не жалеть о своем насильственном порабощении.

Разумеется, в первую очередь подлежали колонизации земли, находившиеся в непосредственной близости от Японии.

«В Японии до сих пор неизвестно искусство навигации, транспорта и внешней торговли; поэтому нам будет нелегко начинать, не имея должного опыта. Японцам следует прежде всего плыть на острова Эдзо, поскольку они наши владения... Торгуя там японскими товарами, мы получим постоянно растущую прибыль. Все и каждый пожелают совершить путешествие за границу, и это даст населению нашей страны естественный прирост в 19,75 раза каждые 33 года, о чем я уже писал» [85, 187].

Острова Эдзо, т. е. Хоккайдо, Сахалин и Курилы, были, по мнению Хонда, подходящим объектом колонизации также и потому, что их жители, несмотря на их волосатость, принадлежали к одной с японцами расе[16]. К той же расе относились, по его мнению, и обитатели Алеутских островов, включая Амчитку — остров, на котором высадился потерпевший крушение Кодаю. К тому же Хонда слыхал, что жители Северной Америки тоже напоминают японцев. Айну все еще называют японцев «камоэдомо» — «высшие существа»; из этого факта Хонда делал вывод, что Япония имеет преимущества перед любой другой страной, пожелавшей колонизовать Эдзо. Тем не менее действовать надо немедленно, иначе будет слишком поздно, потому что русские упорно посягают на Эдзо. Если бы только прислушались к предостережению Бениовского! Тогда можно было бы с успехом избежать нынешнего прискорбного положения дел! С каждым днем возврат Эдзо становится все труднее,

---

[16] «Раз все они — потомки императора Дзимму, значит, они той же расы, что и мы». Здесь речь идет о легендарном визите императора Дзимму на Курильские острова. Хонда верил, что со временем Эдзо можно развить до «городского уровня» [см. 85, 209].

потому что айну постепенно перенимают русские обычаи...

Тревога Хонда по поводу русификации туземцев возникла, возможно, из-за обстановки на острове Итуруп в Курильской гряде, где русское влияние было наиболее сильным. Один путешественник свидетельствует: «Когда я побывал там в 1788 году, я вызвал к себе одного из туземцев и спросил его, чему он научился у русских. Он сказал, что русские дали ему священные иконы и научили молитвам. И сказали, что, если он будет верить этим молитвам, ему всегда будет сопутствовать удача в ловле рыбы, он никогда не потерпит бедствий на море и будет счастлив во всех делах. Когда я спросил о молитвах, он встал и сложил вместе три пальца, как русские. Поднеся их ко лбу, к груди и к плечам, он трижды произнес: „Оппопи-помира!" — и поклонился» [17].

Кудо Хэйскэ задолго до Хонда предостерегал о возможности русификации туземцев. Он писал, что из-за отсутствия у японцев интереса к островам Эдзо туземцы, принадлежащие к одной с камчадалами расе, повинуются теперь приказаниям русских и больше не считаются с пожеланиями японцев.

Хонда положительно оценивал попытки русских приобщить айну к цивилизации. Будь он лучше осведомлен о жестоком обращении русских с туземцами, которое выражалось иногда в полном уничтожении их поселений [18], он был бы вооружен дополнительными аргументами в пользу японского суверенитета над этими островами, однако факт остается фактом — он отзывался с величайшим уважением об энергии русских, которую он противопоставлял инертности и медлительности японцев. По мнению Хонда, русские несут туземцам блага цивилизации только из чистого сострадания и айну, естественно, смотрят на своих покорителей, как на родных отцов. Сходные взгляды высказывал и Хабуто Масаясу, первый начальник магистрата Хакодатэ, писавший в 1803 году: «Согласно тому, что я слышал о политике Русского государства, Россия никогда не вторгает-

[17] Очевидно, искаженное «Господи помилуй!» [см. 27, 67].

[18] На самом деле русское правительство строжайше запрещало русским служилым людям и промышленникам наносить обиды местным жителям, а в 1779 г. сняло с айнов Курильских островов выплату ясака (прим. ред.).

ся в страны, уже цивилизованные, где существует правительство. Единственное, что делают русские,— это воспитывают туземцев, которые в настоящее время не умеют даже готовить пищу» [13, 462]. Хабуто считал излишним создание военной обороны на Эдзо, если Япония убедительно докажет, что несет айну исключительно цивилизацию.

Однако далеко не все в Японии положительно относились к идее колонизации Эдзо. Хотя прогрессивно настроенные авторы, такие, как Кудо Хэйскэ, Хаяси Сихэй, Хонда Тосиаки, высказывались за немедленное утверждение японского суверенитета на севере, люди, стоявшие к правительству гораздо ближе, чем эти ученые, продолжали возражать против любых начинаний такого рода.

Накаи Тикудзан (1730—1804), один ведущих политических мыслителей своего времени, писал в 1789 году, что Японии следует ограничить свою деятельность на островах Эдзо созданием торговых постов. В случае давления со стороны русских эти посты можно будет покинуть без ущерба для военного престижа Японии. Он считал, что Японии совершенно незачем нести бремя расходов и хлопот, обороняя районы, не имеющие никакой ценности. Если же русским удастся завладеть Эдзо, будет достаточно времени, чтобы решить, надо ли поддерживать с ними там торговые отношения. Для Японии в высшей степени удачно, что между нею и Россией расположены эти редконаселенные, не представляющие никакой ценности острова. Всякая попытка колонизовать Эдзо приведет только к напрасной гибели чиновников и солдат и пагубно скажется на процветании Японии... [86, 56].

Хонда с гневом осуждал такие взгляды, называя их предательскими. Он утверждал, что люди, считающие Эдзо чужеземной страной, ничем не отличаются от тех, кто полагает, будто жители этих мест «в отличие от всех прочих людей имеют посреди лба всего один глаз, сверкающий, точно молния...» [85, 170]. Но его старания опровергнуть взгляды Накаи и других единомышленников последнего были напрасны, ибо правительство Мацудайра Саданобу поддерживало доктрины своих консервативных советников; эти советники информировали Мацудайра Саданобу о военной мощи клана Мацумаэ, и Мацудайра, как видно, не сомневался, что перед ли-

цом такой силы будут бессмысленными притязания какой-либо иностранной державы.

Пытаясь повлиять на политику Мацудайра, Хонда представил в 1792 году «Памятную записку», в которой писал о желательности освоения Эдзо. Он приводил пять причин, в силу которых такое освоение необходимо:

1) между Японией и Россией будет создана естественная граница, препятствующая русским свободно плавать в японских водах;

2) Япония получит земли, где преступники смогут жить и заниматься полезным трудом;

3) рудники обогатят страну ценными металлами;

4) земля, распаханная и обработанная, даст обильные урожаи зерна, которые спасут от голода Японию в случае недорода;

5) лес, растущий в Эдзо, может быть использован для строительства кораблей [85, 317].

Три последних пункта не нуждаются в комментариях. Первый пункт, очевидно, возник в ответ на высказывания Накаи, считавшего, что Эдзо выполняет полезную функцию именно как пустынная, **«ничейная»** территория между Японией и Россией. Хонда считал более выгодным иметь четко обозначенную границу; разъяснял консервативным правительственным чиновникам, что такая граница поможет держать на расстоянии христиан, которые в противном случае могут проникнуть в Японию. Второе предложение Хонда — использовать острова Эдзо как место ссылки преступников — имело интересную предысторию. В 1786 году Танума Окицугу подали проект, согласно которому предлагалось принудительно переселить на Эдзо 70 000 париев (эта́). Затем, когда население Эдзо увеличится, не составит труда поселить известную часть колонистов в Маньчжурии, Татарии, а также на более отдаленных Курильских островах... Этот честолюбивый план провалился из-за отставки Танума, но до Хонда, вероятно, дошли о нем слухи [76, 310—312].

Хонда понимал, что нелегко найти желающих добровольно переселиться на земли, имевшие, несмотря на все его усилия, такую незавидную репутацию. Было время, когда он предлагал превратить в колонистов крестьян из северных провинций Японии, которые каждое лето временно посещали Эдзо, заставить их остать-

ся там навсегда вместе с семьями (чему, считал Хонда, они были бы в конечном итоге рады). Кроме того, он полагал, что на Эдзо надо отправлять преступников, тунеядцев и других нарушителей закона из тех областей Японии, где зимой выпадает снег, чтобы, став рыбаками или крестьянами, они вели бы честную жизнь и тем искупили свои грехи. Что же касается преступников из тех районов Японии, где никогда не бывает снега, то их следовало послать для освоения южных территорий, таких, например, как острова Бонин [85, 48].

Устройство и быт колонистов привлекали самое пристальное внимание Хонда, вплоть до подробного описания конструкции домов, в которых им предстоит жить, способов отопления и устройства наиболее удобных дверей и окон. Он перечисляет также постепенные меры, которые помогут приобщить туземцев к японской культуре. Понимая, что переход к японскому образу жизни невозможен в короткий срок, он ратовал за сохранение хороших местных обычаев и отмену только явно дурных, заменив их более совершенными, японскими. «Японские обычаи надо распространять среди туземцев лишь очень постепенно. Японское правительство тоже должно быть учреждено не сразу» [85, 323].

Споры по поводу Эдзо бушевали в среде японских ученых много лет, так и не дав сколько-нибудь успешных результатов. Многие ученые, жившие раньше Хонда (возможно, еще в конце XVII века), и огромное количество людей, живших гораздо позже, продолжали подчеркивать преимущества и выгоды освоения Эдзо, нередко в преувеличенных тонах, однако правительство было слишком консервативно, чтобы его могли убедить даже самые красноречивые авторы. Время от времени на север направляли экспедиции с чисто исследовательскими целями, но ни о какой колонизации, по-видимому, не могло быть и речи, поскольку японцам не разрешалось выезжать из страны, распространять за границей информацию о Японии или обучать иностранцев японскому языку [19].

В сочинениях всех без исключения сторонников освоения Эдзо звучала мысль о безотлагательной сроч-

[19] Могами Токунай, ученик Хонда, навлек на себя ярость клана Мацумаэ, научив своего слугу айну читать и писать японскую слоговую азбуку «катакана».

ности этих мероприятий: «Скоро может быть поздно! Русские обгонят нас на пути к Эдзо!» Когда Хонда узнал о смерти Екатерины II, ему показалось, что настал момент решительных действий. Со смертью такой несравненно одаренной правительницы русская империя, безусловно, рухнет, и Япония сможет легко распространить свое влияние от Курил до Камчатки и далее — от мыса Фаддея на северо-американский материк... [85, 117]. Не потребуется даже военной силы, если немедленно воспользоваться таким единственно возможным счастливым шансом. «Еще немного, и будет поздно!»

Но ничего не произошло. Случай был упущен, и правительство по-прежнему прислушивалось только к голосам тех, кто высказывался за сохранение status quo. Когда в 1804 году Россия направила в Японию посольство, предлагая начать торговлю, наиболее доверенный правительственный советник рекомендовал ответить: «Закон наших предков не разрешает нам торговать ни с кем, кроме Голландии и Китая» [13, 391]. Но если, как думал Хонда, японцы упустили возможность создать империю, то, во всяком случае, не произошло и русского вторжения, предсказанного многими авторами, начиная с Бениовского. Вопреки мнению Хонда, опасавшегося, что колониальная политика русских, мягко и доброжелательно относившихся к туземцам, приведет к тому, что влияние России распространится и на Хоккайдо, русские власти не пользовались популярностью у айну, знавших, что те несут им только смерть в виде ружейного огня и болезней. Туземцы, которые сумели выдержать жестокое обращение, быстро деградировали, как явствует из нижеследующего сообщения, хотя оно написано сторонником русских.

«Хотя они ведут примитивнейший образ жизни и пребывают в полном невежестве, тем не менее они считают себя счастливейшими людьми на свете и смотрят на русских, живущих среди них, с презрением. Однако в настоящее время положение меняется, ибо старые люди, твердо отстаивавшие свой старинный жизненный уклад, умирают, а молодые, обращенные в христианство, принимают обычаи русских и презирают дикость и суеверия своих предков» [122, 180].

Разумеется, весьма сомнительно, чтобы японские власти оказались лучше. Размышляя об отторжении

Сахалина от Японии, номинально владевшей островом [20], капитан Крузенштерн писал: «Самым существенным возражением могло бы явиться указание на то, что подобный захват будет сделан без согласия подлинных хозяев Сахалина — айну, и я честно сознаюсь в моих сомнениях по поводу того, выиграют ли они от такой перемены, потому что мне показалось, что японцы обращаются с ними весьма гуманно» [124, II, 69].

Такая оценка японской политики удивила бы Хонда Тосиаки, который видел в деятельности японцев только нерасторопность и тупость, составлявшие такой невыгодный контраст с неизменно просвещенными действиями представителей Запада. Современники Хонда критиковали его за чрезмерное преклонение перед всем иностранным, однако именно эта готовность перенять все новое, передовое, свойственная Хонда, Сиба и другим передовым людям своего времени, позволила Японии, единственной из всех азиатских стран, подняться и ответить на вызов Запада. Возможно, Хонда заходил слишком далеко в своем восхищении Западом, но, только проповедуя столь крайние взгляды, мог он надеяться пробудить Японию от вековой спячки и открыть перед нею величественные перспективы.

---

[20] О суверенитете России над Сахалином с XVII в. см. в Послесловии (прим. ред.).

Глава VI

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СЕВЕРА

К концу XVIII века знакомство японцев с европейской цивилизацией было глубже, чем у жителей любой другой страны за пределами Европы. Казалось бы, что арабы, жившие по соседству с Европой и связанные с европейскими государствами на протяжении длительного отрезка истории, могли без труда узнать о революции в науке, которая произошла в Европе со времен Ренессанса, однако то ли по инертности, то ли из-за презрения к «неверным» они были информированы хуже японцев. Индийцы и индонезийцы сопротивлялись колониальному порабощению, организуя обреченные на неудачу восстания, но не стремились овладеть техникой своих поработителей, чтобы использовать в своей борьбе более эффективные средства. Китайцы время от времени прибегали к помощи живших в Пекине миссионеров, в особенности при подготовке новых календарей, но в целом они мало интересовались Европой. Парадоксально, но факт, что только Япония, несмотря на географическую обособленность и политику изоляции, проводившуюся правительством, смогла приобщиться к европейской цивилизации.

Восприимчивость японцев к культуре Запада отчасти объясняется их давней страстью ко всему, что шло из Китая. Эта страсть привела к заимствованию материковой китайской культуры и к появлению обширной переводной литературы. В отличие от японцев индийцы вплоть до самого недавнего времени не были склонны

переводить книги с чужих языков, а китайцы переводили только буддийские каноны, не испытывая ни малейшей потребности в получении информации о внешнем мире. Японцы же с начала своей истории с жадностью обращались к Китаю, не только самым активным образом занимаясь переводами, но и желая сделать китайскую цивилизацию элементом своей культуры. Как им хотелось заслужить похвалу китайцев, казаться достойными учениками в их глазах! Многие поколения ученых мечтали писать иероглифы так, чтобы их нельзя было отличить от китайских, сочинять китайские стихи с безупречным ритмом и рифмой, жаждали, чтобы их философские эссе получили известность в Китае. Сам сёгун Асикага Ёсимицу придумал себе китайское имя, предпочитал одеваться на китайский манер и был счастлив принять титул «короля Японии», пожалованный ему китайским двором. А один конфуцианский ученый подписывал свои сочинения псевдонимом «Восточный варвар». «Помешательство на Голландии», которым заболели многие ученые в XVIII и XIX веках (такое же в принципе явление, только в меньших масштабах), не могло бы возникнуть без давней традиции преклонения перед культурой чужой страны. Но в отличие от поклонников Китая ученые, занимавшиеся изучением голландских наук, вызывали недоверие и подозрение. Ни один японец, как бы велико ни было его увлечение Западом, не решился бы исповедовать христианство так же открыто, как ученые-китаисты — конфуцианство. И все же многие наиболее выдающиеся люди Японии придумывали себе голландские имена, вели переписку на голландском языке, сочиняли по-голландски стихи и прозу и рисовали на голландский манер пейзажи, украшенные изображением ветряных мельниц.

Может быть, именно законы, запрещавшие общение с иностранцами, еще сильнее укрепили решимость некоторых людей интеллектуальных профессий раздвинуть географические и духовные границы своего мира. Самые смелые использовали каждую возможность, чтобы подружиться с голландскими купцами и врачами невзирая на опасность доноса со стороны какого-нибудь противника иноземцев. А подружившись с европейцем, они всячески старались поддерживать эту связь, хотя переписка с другими странами была строжайше запрещена. После отъезда Исаака Титсинга из Японии три-

надцать ученых «рангаку», в том числе один даймё, посылали ему письма в Бенгалию. Переписка по научным вопросам, как со знакомыми, так и с незнакомыми людьми, не прерывалась. Кацурагава Хокэн, личный врач сёгуна, регулярно писал письма одному немецкому ботанику в Индонезию и был даже избран почетным членом одного ученого общества [10, II, 124]. Несмотря на помехи, чинимые правительством, японцы неутомимо расспрашивали обо всем каждого нового человека. Капитан Головнин пишет, что «любопытство японцев было так велико, что они на всяком постое почти беспрестанно нас расспрашивали, как, например, наши имена, каких мы лет, сколько у нас родни, из чего, где и как изготовлены бывшие при нас вещи и прочее, и записывали все наши ответы» [110, I, 112]. Иногда отношения с европейцами принимали более глубокий характер, о чем нам известно из сообщений Тунберга: «Я имел счастье завоевать их любовь и дружбу до такой степени, что они не только высоко ценили мои познания, но искренне полюбили меня и горько сожалели о моем отъезде» [152, III, 206].

Отношения между голландцами и переводчиками — единственными японцами, имевшими официальное разрешение непосредственно общаться с иностранцами,— развивались не всегда гладко. Хендрик Дёфф, живший в Дэсима с 1799 по 1817 год, дольше, чем все другие голландцы, несколько лет работал вместе с переводчиками над составлением голландско-японского словаря [1]. В течение длительного периода, когда из-за наполеоновских войн голландские корабли не могли приходить в Японию, он всецело зависел от их помощи, даже в смысле одежды и пропитания. Но в своих мемуарах он чаще упоминает об «аргусовых очах надзирателей, следивших за каждым моим шагом везде и всюду», нежели о радости совместного труда.

Переводчики как государственные чиновники действительно могли иногда чрезмерно усердствовать в слежке за голландцами, но они никогда не относились к ним враждебно. Был даже эпизод, когда из сочувствия к голландцам они решились на больший риск, в результате чего только навлекли на себя несчастье. В 1790 го-

[1] Этот словарь, знаменитый «Дёфф-Альма», был создан на основе голландско-французского словаря Франсуа Альма и являлся сокровищем для многих поколений ученых «рангаку».

ду сёгунат издал указ, согласно которому голландцам разрешалось отныне присылать только один корабль в год, а количество золота и серебра, подлежавшего вывозу из Японии, было уменьшено вдвое. Понимая, каким ударом будет этот указ для голландских купцов, переводчики решили утаить от них некоторые детали указа, сообщив в то же время правительству, что голландцы без возражений согласились на новые условия. Подлог был обнаружен, и переводчики, ответственные за этот обман, были приговорены к пяти годам тюрьмы [8, 149—150].

Резкое сокращение торговли было действительно тяжким ударом для голландцев. Дёфф, директор фактории, даже удивлялся, почему японцы вообще еще поддерживают торговлю, если она ведется в таких ничтожных размерах: «Никто, кроме губернатора и жителей Нагасаки, не извлекает из этой торговли никаких выгод. Япония не нуждается в ввозе товаров из-за границы... Японцы прекрасно обходятся без таких предметов роскоши, как слоновая кость, шерстяные, шелковые и полотняные ткани, изделия из стекла, часы и тому подобные безделушки... В самом деле, в результате закрытия страны для всех иностранцев и запрета на всякое общение с ними японцы незнакомы со многими предметами роскоши и, на свое счастье, вовсе не ощущают отсутствия тех предметов, которые мы, в Европе, считаем необходимыми» [104, 106].

Очевидно, сёгунат разрешал торговлю в Дэсима, даже когда она свелась к ничтожному количеству предметов роскоши, только из уважения к давней традиции. Гораздо более важной причиной, побудившей терпеть голландцев и их товары, было, без сомнения, все то же стремление получать через голландцев информацию о Западе. Сёгунат понимал, что одна лишь политика изоляции не является для страны гарантией от внешней угрозы. Присутствие русских на севере и появление судов других европейских держав близ японских берегов побудили правительство более чем когда-либо стремиться быть в курсе событий, происходящих в Европе. Даже когда в начале XIX века в Голландии сложилась ситуация, мешавшая продолжению торговли, пребывание голландцев в Дэсима все-таки считалось полезным, хотя бы в качестве учителей для переводчиков.

С падением Наполеона, в 1815 году, независимость Голландии была восстановлена, и голландское прави-

тельство решило исправить свою вину — дать наконец миру информацию о Японии, которую не способны были добыть купцы в Дэсима. Для выполнения двойной миссии — получить информацию о Японии и сообщить японцам о новых научных достижениях в Европе — был избран молодой немецкий врач Филипп фон Зибольд (1796—1866). С его прибытием в Японию в 1823 году начался недолгий, качественно новый период в отношениях между японцами и голландцами, закончившийся шесть лет спустя высылкой Зибольда из Японии. В последовавшие затем годы изучение голландской науки снова подверглось суровым ограничениям. В 1839 году реакционные правители Японии арестовали группу ученых, изучавших голландские науки, по подозрению в политической неблагонадежности, а представители традиционной китайской медицины так враждебно относились к врачам, воспринявшим голландскую медицину, что добились в 1849 году правительственного запрета практиковать методы голландской медицины во всех областях, за исключением хирургии и глазных болезней [49, 147].

Даже среди людей, признававших ценность голландской науки, многие считали ее полезной лишь постольку, поскольку она могла способствовать сохранению существующего порядка. Другие заимствовали из голландской науки только то, что было нужно им лично, одновременно декларируя глубочайшее презрение ко всем иностранцам.

Люди поколения Хонда Тосиаки были очарованы тем новым миром, который открылся им в голландских книгах и изделиях, но в некотором отношении их подход к Западу оставался поверхностным. Им недоставало языковых познаний и возможности их расширить. Их последователи прокладывали путь к новому уже на другом, более высоком уровне; это были люди, исследовавшие пустынные северные острова, методически собиравшие доступные им научные материалы для своих сообщений о Западе, рисковавшие жизнью ради получения точных географических данных. Они жили в обществе, которое в целом ничего не знало об их заслугах, под властью правительства, готового применить самые жестокие методы для искоренения малейших признаков нелояльности, но их знания позволили им выйти за ограниченные пределы, достигнутые предшест-

венниками, и приобщиться к миру всеобщего братства науки. В настоящей главе рассматриваются главным образом труды двух ученых этого нового поколения.

Могами Токунай (1754–1836)

Одно событие в жизни Хонда Тосиаки представляется нам загадочным — его отказ участвовать в экспедиции на север, организованной сёгунатом в 1785 году. Едва узнав, что намечается подобная экспедиция, Хонда не жалел усилий, чтобы попасть в состав ее участников на любых, пусть даже самых скромных ролях. Он считал, что наконец-то ему представляется случай узнать, возможно ли в действительности развитие Эдзо, за которое он так красноречиво ратовал, и правда ли, что «учение о долготах» в самом деле позволяет географу определять климат неизвестных земель. Однако, когда Хонда добился разрешения участвовать в экспедиции, он сам попросил освободить его от участия в ней, ссылаясь при этом на болезнь, и рекомендовал вместо себя своего ученика — Могами Токунай. Из его письма к другу мы узнаем, что болезнь служила только предлогом и что с самого начала Хонда намеревался послать в эту экспедицию Могами [37, 28].

Возможно, Хонда считал, что Могами сможет лучше перенести трудности путешествия и серьезнее подготовлен для подобной поездки; во всяком случае, трудно было бы сделать более удачный выбор. Оказалось, что Могами Токунай не только физически способен вынести жестокие холода Курил и Камчатки, что он неоднократно впоследствии доказал, но и обладает достаточным пониманием задач и полетом мысли, а это, по мнению Хонда, было очень важным для утверждения японского превосходства на севере.

Как и многие другие первооткрыватели его поколения, Могами был крестьянским сыном. В старости он занялся изучением своей генеалогии, утверждая, что происходит из высокородной самурайской семьи, однако юность его прошла в большой нужде и в ней нет ни малейшего намека на богатство и пышность.

В 1781 году, двадцати шести лет, Могами покинул родную деревню на севере Японии, чтобы попытать счастье в Эдо. В автобиографии он пишет об этом периоде своей жизни: «Я обучался астрономии и геогра-

фии у Хонда Тосиаки и медицине у Ямада Мунатоси, но все никак не мог определить своего призвания. В это время я случайно услышал рассказ о том, что жители Эдзо не знают ни земледелия, ни грамоты. Тогда я впервые понял свое призвание: я помогу им избавиться от невежества!» [37, 16—17]. Это раз навсегда принятое решение проливает свет на неизменно сочувственное отношение Могами к айну, из-за чего впоследствии ему суждено было вступить в серьезный конфликт с кланом Мацумаэ [37, 65].

Легко представить себе, как счастлив был Могами принять участие в экспедиции 1785 года, хотя его функции сводились к роли всего-навсего носильщика инструментов для топографии. Цель экспедиции — установить маршрут, которым проникали на Эдзо контрабандные товары с Азиатского материка, а также обследовать ископаемые и сельскохозяйственные ресурсы этого района. Были посланы две группы, одна на Сахалин, другая на Курилы, с приказом побывать, если будет возможность, на островах, наиболее близких к тем, где уже обосновались русские. Могами попал в курильскую группу, возглавляемую Ямагути Тэцугоро.

Очевидно, несмотря на скромную должность, Могами как-то выделялся среди других участников экспедиции, потому что в начале следующего года его снова послали на север, на этот раз одного, чтобы сделать топографические карты. Примерно через месяц, который он провел так, как считал нужным, он начал говорить на языке айну достаточно бегло, чтобы обходиться без переводчика, но вскоре нанял помощника, айну, немного говорившего по-японски. Заметив способности этого человека (и, может быть, памятуя о своем давнем решении), он обучил этого айну японской азбуке «кана», хотя это было запрещено специальным законом. Подобный поступок говорит о сочувственном отношении Могами к айну во времена, когда японцы, как правило, обращались с ними крайне жестоко. Вдвоем они продвигались от острова к острову и забрались далеко на север, вплоть до островов Итуруп и Уруп [37, 47][2]. Могами писал: «Я проплыл мимо первого острова

[2] Официальный доклад об экспедиции 1785 г. приписывал эти открытия Ямагути и Аосима, начальникам Могами, но в действительности неблагоприятная погода помешала им достичь о-ва Итуруп.

Кунашир, чтобы достичь следующего — Итурупа. Никогда и никто в истории не достигал этого острова. Я был первым японцем, ступившим на эту землю. Жители острова были удивлены, увидев меня, и окружили толпой, разглядывая меня. Но я все еще недостаточно знал местный говор, чтобы учить их Великому Пути» [37, 48].

На острове Итуруп Могами услышал сообщение о троих русских, которые бежали сюда с острова Уруп после ссоры со своими начальниками[3]. Могами встревожился, не шпионы ли эти люди, посланные русским правительством, чтобы обследовать острова, а может быть, даже для того, чтобы помешать продвижению Могами на остров Уруп. В конце концов он решил встретиться с ними и, каковы бы ни были их мотивы, как-то использовать их для своих дальнейших исследований. Первая же встреча развеяла его опасения. Как только он прибыл на побережье Сарсама, трое русских во главе с Семеном Дорофеевичем Ишуё[4] вышли ему навстречу и приветствовали его с величайшей почтительностью и вежливостью, сняв шапки и башмаки и молча кланяясь. Айну расстелили для них циновки на берегу, все уселись, и Могами оказался в окружении чужестранцев, русских и айну,— исключительная ситуация для японца в XVIII веке! Впоследствии сопровождавший Могами айну рассказывал, что Могами побледнел от волнения, но крепко сжал зубы и, как видно, был полон решимости не уронить собственного достоинства в глазах русских.

В этот вечер в честь Могами был устроен пир. Захмелев от мутной айнской браги, русские и айну поочередно исполняли песни и пляски своей страны, и Могами, чтобы не отстать, спел японскую песню погонщика мулов. На следующий день Могами пригласил русских на обед. Обрадованные возможностью отведать рис после долгих месяцев скудной еды, они был тронуты и всячески выражали ему признательность и дружеское расположение. Вскоре Могами и Ишуё оживлен-

---

[3] Подробности об этом восстании, направленном против некоего Петра, полурусского, полуяпонца, дает Ленсен [128, 94—95].

[4] Имя передается японской фонетической азбукой как «Ишуё» в большинстве текстов, однако иногда встречается как «Июёсофу»; это искаженная русская фамилия, что-нибудь наподобие «Ижуёсов». Никаких сведений об этом человеке, кроме свидетельств Могами и его начальников, не имеется.

но беседовали на ломаном айнском языке о географии Курил и Камчатки. На Могами произвели сильное впечатление познания русского, и постепенно его подозрения сменились уважением и даже симпатией к нему. Ишуё попросил Могами взять его с собой в Японию, чтобы добраться до Нагасаки, а оттуда обратно в Европу, но Могами пояснил, что японский закон запрещает иностранцам въезд в страну. В конце концов договорились, что Могами довезет Ишуё до пункта Аккэси на Хоккайдо. Со своей стороны Ишуё написал для Могами рекомендательное письмо русским властям на Камчатке. С этим письмом Могами отправился в дальнейший путь, на Камчатку, но не смог продвинуться дальше северной оконечности Урупа: штормы заставили его возвратиться на Итуруп.

Тем временем Аосима и Ямагути, начальники Могами, наконец-то добрались до Итурупа, где прожили месяц, уделяя много времени расспросам Ишуё. Могами вернулся как раз тогда, когда Ямагути и Аосима решили приказать русским отправляться прочь. Ошеломленный таким оборотом дел, после того как он обещал Ишуё довезти его до Аккэси, Могами спрятался, стараясь, чтобы русские не увидели его в тот момент, когда им указывали на дверь. Но Ишуё отказался покинуть остров, не повидав Могами, заявляя на ломаном айнском языке: «Я уверен, Токунай здесь. Я хочу видеть Токунай. Я хочу попрощаться с ним» [37, 61]. Услышав эти слова, Могами вышел из убежища, где он прятался, и с трудом уговорил Ишуё уехать на Сахалин в лодке, предоставленной японцами.

Перед отъездом Ишуё пригласил Могами в свою хижину, чтобы сказать ему, насколько он огорчен из-за того, что они должны разлучиться. Усадив Могами на почетное центральное место, Ишуё со своим помощником стали по сторонам, взяли Могами за руки, а другой рукой обняли за талию в прощальном объятии, к немалому изумлению Могами. Оба русских поочередно выражали свое огорчение громкими восклицаниями. Могами тоже едва не плакал. Запись в его дневнике гласит, что «Ишуё был человеком благородного, мужественного характера, в гораздо большей степени, нежели я, по ограниченности своей, способен был оценить» [37, 62]. Особенно сильное впечатление произвела на Могами серьезность Ишуё; он приписал постоянно суровое

выражение его лица обычаю христиан считать смех одним из самых смертельных грехов [37, 63].

Это заблуждение показывает, каким неглубоким было общение между Могами и Ишуё, тем не менее случайная встреча этих людей стала своеобразной вехой в истории общения японцев с иностранцами. Начавшись с подозрений и страха, их отношения за два месяца переросли в доверие и дружбу. Могами вернулся в Эдо в 1788 году, но вскоре решил снова поехать на север. Там он намеревался разыскать Ишуё и с его помощью отправиться на Камчатку, а со временем и в Москву. Перед тем как расстаться, Ишуё дал Могами своего рода пропуск, пояснив, что эта бумага поможет ему путешествовать по всей Европе. Один из друзей Могами впоследствии вспоминал: «Он был убежден, что, пока этот документ при нем, ему будет весьма легко ездить всюду, где пожелает. Единственное затруднение состояло в том, как добраться до русских владений. Токунай мечтал тайно покинуть Японию, отправиться в русскую столицу, объехать всю страну, а затем обратиться за помощью к проживающим в Москве голландцам. С голландцами он намеревался совершить путешествие вокруг Европы. Затем, обогнув Африку и Азию и посетив по дороге все острова, он хотел вернуться в Нагасаки. По этим планам можно судить, каким решительным и отважным человеком был Токунай» [37, 70].

Могами знал, что японцам запрещается выезжать за границу, но его безграничная любознательность, жажда познания мира и уверенность в своем умении устанавливать контакт с иностранцами (возникшая, без сомнения, в результате его дружбы с Ишуё) вдохновили его на мечты о столь рискованном путешествии.

Летом того же года Могами вновь отправился на север. Деньгами для этого путешествия его снабдил Хонда Тосиаки. Добравшись до Мацумаэ, он попросил зачислить его на службу в клан, но местные власти, недовольные Могами (в особенности за то, что он выучил айну японской грамоте), не только отклонили его прошение, но и приказали немедленно покинуть остров. Решив остаться во что бы то ни стало, Могами пустился на отчаянную уловку — обрил голову и поступил в ученики к буддийскому священнику секты Дзэн, но все было напрасно. Ему пришлось уехать, больше того, его обокрали до нитки, похитив все имущество, так что он

остался буквально в том, в чем был. В конце концов капитан какого-то судна сжалился над ним и помог добраться до родной деревни. На родину Могами вернулся в лохмотьях и без гроша в кармане, так что к нему никак нельзя применить японскую поговорку о человеке, преуспевшем в столице и одетом в парчовые одежды. Пытаясь найти средства к существованию, он перепробовал все — был дровосеком, разносчиком лекарств, торговал табаком. В конце концов он сделался учителем арифметики в родной деревне [37, 74].

В 1789 году до Могами дошел слух о восстании айну на острове Кунашир. По первым недостоверным сведениям, зачинщиком якобы был Ишуё; было убито семьдесят или восемьдесят японцев. Могами немедленно сообщил об этом Аосима Сюндзо в Эдо, и в том же году с наступлением лета сёгунат направил Аосима (переодетого купцом, чтобы не возбуждать подозрений у чиновников клана Мацумаэ) расследовать случившееся. Аосима решил взять с собой Могами в качестве переводчика, чтобы подробно и без помехи расспросить айну, не прибегая к помощи переводчиков клана Мацумаэ.

В докладе сёгунату Аосима Сюндзо дал точное описание бессовестных методов торговли, которую вел с айну клан Мацумаэ. Это и послужило причиной бунта. Но Мацудайра Саданобу каким-то образом стало известно, что, находясь на Хоккайдо, Аосима свел дружбу с одним чиновником клана Мацумаэ, что было совершенно несовместимо с секретным характером его миссии [37, 80]. Мацудайра приказал арестовать Аосима. Могами, живший в ту пору у Аосима, тоже был арестован как соучастник. Заключенный в общую камеру с обычными преступниками, Могами подхватил в тюрьме лихорадку и несколько дней пролежал без сознания. Он даже замышлял самоубийство, поддавшись необычному для него приступу отчаяния. В конце концов Могами освободили — ему удалось доказать, что он не только не действовал заодно с руководителями клана Мацумаэ, но, напротив, вызывал у них явное недовольство, даже ненависть. Все еще не вполне оправившись от болезни, подхваченной в тюрьме, он поселился у Хонда Тосиаки, где постепенно поправил свое здоровье [37, 86].

Доклад Могами, представленный властям через Хонда Тосиаки, не только помог его реабилитации — благодаря этому докладу он получил официальное положе-

ние в обществе как вассал сёгуната [37, 87]. Мацудайра Саданобу, в принципе настроенный против каких-либо шагов к развитию Эдзо, все же разрешил ограниченную торговлю между японцами и айну — показной жест сострадания к обездоленным айну. На север вновь отправили группу из шести человек с Могами Токунай во главе.

Могами сообщает в автобиографии, что, покидая дом Хонда Тосиаки, он спросил у своего учителя, каким способом лучше всего наставить айну на путь цивилизации. «Будьте подлинно гуманным, и Небо благословит вас»,— ответил Хонда. Все действия Могами по отношению к айну действительно отмечены редким по тому времени гуманизмом, и это свидетельствует о том, как глубоко запали ему в душу слова Хонда.

Могами прибыл в Мацумаэ в начале 1791 года, на этот раз как официальный представитель сёгуната. Те же чиновники, которые так презрительно третировали его несколько лет назад, были потрясены. Однако они были бессильны помешать ему передвигаться по их владениям. Могами, опасаясь, как бы его не отравили, принимал исключительные меры предосторожности. Он постарался как можно скорее покинуть Мацумаэ, направляясь на Итуруп в надежде встретить Ишуё. По злой иронии судьбы Ишуё покинул берег Сарсама за два дня до приезда Могами, возможно, до него дошли слухи о скором прибытии чиновника сёгуната. Могами отправился за ним следом на остров Уруп, но ему так и не удалось встретиться с Ишуё [37, 102]. На Урупе Могами увидел кресты, водруженные русскими в 1784 году, и решил, что лучшим противодействием христианскому влиянию, распространяемому русскими, будет постройка синтоистского храма, где айну смогут почитать богиню солнца Аматэрасу. «Находясь в нецивилизованном состоянии, местные жители не имеют своей религии и готовы воспринять религиозное учение любой страны»,— писал он [37, 105]. Могами считал, что айну хотя и дикари, но принадлежат к той же расе, что и японцы, и потому им следует почитать тех же богов. Похоже, что Могами был первым японцем, придерживавшимся подобного мнения. Араи Хакусэки заявлял, что айну ближе к животным, чем к человеческим существам, и правители клана Мацумаэ, судя по всему, разделяли подобную точку зрения. «В этом году я встречал-

ся со многими айну,— писал Могами,— и понял, как неправильно считать их разновидностью собак; в действительности они относятся к той же семье, к которой принадлежим и мы, японцы. Чтобы стать японцами, им нужно лишь воспринять учение нашей страны. Поэтому я убеждал их почитать богиню солнца и наших божественных предков, и они, обрадованные тем, что я преподал им такие советы, молились ей с величайшим благоговением» [37, 106]. В 1798 году, когда Могами сопровождал экспедицию Кондо Морисигэ на остров Итуруп, японцы поставили столб с надписью: «Дай Нихон, Эторофу» («Великая Япония, Итуруп»). Имена десяти айну, участвовавших в экспедиции, были перечислены ниже имен пятерых японцев как бы для того, чтобы показать, что оба народа равно заинтересованы провозгласить Итуруп японским [37, 149].

Отношение Могами к айну было отражено в указе Мацудайра Тадаакира от 1799 года:

«В настоящее время наша политика в отношении Эдзо состоит в том, чтобы направлять туда наших чиновников и распространить на жителей Эдзо благодать японской цивилизации. Мы намерены содействовать просвещению народа айну в надежде, что они постепенно воспримут наши обычаи и нравы и настолько глубоко воспримут наш образ жизни, что никакие происки иностранной державы, которая попыталась бы лестью завоевать их расположение, не поколеблют их преданность. Такова наша главная цель. Однако, если мы станем — когда надо и не надо — забрасывать народ айну дарами, стремясь немедленно завоевать их расположение, их преданность будет недолговечной. Наиболее разумно — продолжить наши усилия, дабы улучшить их жизнь посредством торговли... При этом надлежит помнить, что цель этой торговли состоит не в получении прибыли, а в улучшении жизни населения Эдзо... Нужно терпеливо обучать их земледелию и научить употреблять растительную пищу... Народ айну от природы тупой, но слышали мы, что они честны и добросовестны. Малейший обман приведет их к мысли, что японцам нельзя доверять, а это помешает им воспринять обычаи японцев. Нужно относиться к ним с величайшей искренностью... До сих пор народу айну запрещалось говорить по-японски; отныне нужно поощрять их в стремлении изъясняться исключительно по-японски, с тем чтобы они

в конце концов полностью перешли на японский язык. Однако японцам ни при каких обстоятельствах не следует говорить на языке айну... Когда айну воспримут учение нашей страны и, привыкнув к японским законам, пожелают воспринять японские обычаи, можно разрешить им выбривать волосы надо лбом по примеру японцев. Таким людям следует дать японскую одежду, а особо преданным дозволить жить в японских домах, которые нужно специально для этой цели построить. Но если мы попытаемся приобщить их к нашим обычаям слишком поспешно, наши усилия могут пойти вразрез с их нравами и не увенчаются успехом. Мы должны ждать, пока они сами не пожелают перемен в своей жизни» [37, 183—184].

Но эта просвещенная политика, принятая явно под влиянием советов Могами[5], была изменена вскоре после прибытия Мацудайра Тадаакира в Хакодатэ. Очевидно, пожив непосредственно среди айну, он понял, как далеки они от того, чтобы отказаться от своих исконных обычаев. Мацудайра приказал запретить ритуальный праздник Медведя, делать татуировку и прокалывать детям уши [37, 191]. Этот недружественный акт чрезвычайно огорчил Могами Токунай. Несмотря на то что он был убежден в родстве айну и японцев, он понимал, что всякая попытка силой заставить их разом отказаться от своих обычаев в надежде тем самым уничтожить их как самостоятельную народность обречена на провал. Некоторые вожди айну, видя в Могами друга, поведали ему свое горе и гнев, когда Мацудайра Тадаакира приказал выбрить волосы надо лбом по японской моде нескольким юношам айну. Могами оказался прав, когда предсказывал неудачу, если будут приниматься такие крутые меры: вскоре пятьдесят или шестьдесят айну убежали на лодках на остров Уруп, предпочитая жить с русскими, чем под властью японских законов.

Политика Мацудайра Тадаакира означала торжество консерватизма и реакции. В 1802 году, когда сёгунат решил учредить магистрат в Мацумаэ, был обнародован указ, запрещавший учить айну земледелию или каким-

---

[5] Могами был согласен не со всеми пунктами указа. Так, например, он не видел оснований, почему японцам нельзя говорить на языке айну.

либо образом вмешиваться в их жизнь [37, 227—228]. Отныне всякие попытки превратить айну в японцев должны были быть прекращены, и, даже если сами айну желали научиться какому-нибудь японскому обычаю, их просьбу удовлетворяли только с большим трудом. Опасение русской агрессии на Курилах пошло на убыль, и природное отвращение властей ко всяким новшествам вылилось в возврат к старой политике по отношению к айну.

Консервативная позиция сёгуната особенно четко проявилась в 1804 году, когда японское правительство не захотело даже откликнуться на предложение русского посланника Резанова об открытии торговых отношений. Могами писал, что люди по всей стране, узнав о грубом отказе Резанову, были на стороне русских [37, 232]. Сам Резанов был так разгневан, что тайно договорился с двумя младшими русскими офицерами, Хвостовым и Давыдовым, отомстить японцам, и между 1806 и 1808 годами русские военные суда под их командой совершили нападения на японские поселения на Сахалине и на Курилах. Сёгунат был, конечно, перепуган, но в то же время абсолютно не способен понять, чем вызваны эти нападения, даже не связывая их с отказом Резанову[6]. Правительство опять обратилось за советом к Могами, пожаловав ему внеочередное звание.

Могами высказал мнение, что следует принять меры для защиты стратегически важных пунктов на островах, но он был совершенно убежден, что лучшей гарантией безопасности японских владений было бы доверие и уважение к японцам со стороны айну, которые тогда поднимались бы на защиту японской земли по доброй воле, избавив тем самым японцев от необходимости нести расходы на оборону [37, 280]. Советы Могами, судя по всему, были оставлены без внимания. Нежелание сёгуната взять на себя ответственность за положение на севере явственно обнаружилось в 1821 году, когда правительство внезапно вернуло Эдзо в юрисдикцию клана

[6] Д. Кин передает японскую интерпретацию этих событий. На самом деле после отказа сёгуната вести переговоры с Россией об установлении дипломатических и торговых отношений русский посол Н. П. Резанов, узнавший о проникновении японцев на Южный Сахалин и Курильские острова (Кунашир и Итуруп), входившие в состав России, поручил Н. А. Хвостову и Г. И. Давыдову изгнать оттуда японцев и восстановить русские государственные знаки (прим. ред.).

Мацумаэ — после тринадцати лет непосредственного подчинения этих районов центральной власти.

В последние годы жизни Могами по-прежнему отличался замечательно крепким здоровьем, несмотря на все трудности, перенесенные во время путешествий на север. Одним из наиболее примечательных событий в этот последний период жизни была его встреча с Зибольдом в Эдо. Запись в дневнике Зибольда от 16 апреля 1826 года начинается словами: «dies sane calculo candidissimo notandus!» («День, который должен быть отмечен как особенно важный!») [37, 348]. Зибольд сделал эту запись по-латыни не только от радости, что встретил человека, который мог так много поведать ему об Эдзо, но и из опасения, что, если он напишет по-голландски или по-немецки, от ястребиного взора переводчиков не укроется тот факт, что Могами передал ему карты Курил и Камчатки. Все время, на протяжении которого Зибольд еще оставался в Эдо, он ежедневно встречался с Могами, заучивая словарь языка айну и слушая рассказы о его открытиях. В конце мая, когда Зибольд уезжал в Нагасаки, Могами проводил его вплоть до Одавара.

В своих книгах Зибольд не раз подчеркивает, сколь многим он обязан Могами Токунай, которого он уважал больше всех, кого ему довелось встретить в Японии. И если Зибольд ожидал двадцать пять лет, прежде чем решился опубликовать полученные от Могами карты и планы, показывающие, что Сахалин — остров, то не приходится сомневаться, что к этому его обязывало какое-то обещание, данное в свое время Могами. Мы не знаем точно, что заставило Могами, рискуя подвергнуться суровому наказанию, дать Зибольду эти карты и не подлежавшую оглашению информацию об айну, но несомненно одно: здесь не могли иметь места никакие соображения личной выгоды. Только бескорыстное желание распространить научные знания и, возможно, личное расположение, похожее на чувство, которое он питал сорок лет назад к Ишуё, могли заставить Могами нарушить закон сёгуната. Все в жизни Могами Токунай достойно восхищения в высшей степени, но в этом последнем поступке наиболее красноречиво отразился характер человека, от начала и до конца посвятившего свою жизнь открытию нового.

Мамия Риндзо (1775 — 1844)

Мамия Риндзо прославился как первооткрыватель даже больше, чем Могами Токунай; в самом деле, его имя впервые прозвучало для западных читателей в «Записках капитана Головнина» в 1816 году, а затем приобрело общемировую известность, когда в 1832 году Зибольд назвал часть воды, отделяющую Карафуто от Азиатского материка, «проливом Мамия» — названием, до сих пор употребительным в Японии.

Мамия родился в провинции Хитати, в восточной части Японии. Подобно Могами Токунай, он тоже утверждал, что происходит из самурайского рода, хотя многие поколения его предков пахали землю.

Местные легенды говорят, что Мамия с детства отличался необыкновенными способностями, в частности по интуиции догадывался, как лучше строить ирригационные плотины [87, 94—97]. Во всяком случае, ученый-географ Мураками Симанодзё, совершавший поездку по этой местности, обратил внимание на одаренного мальчика и взял его с собой в Эдо. Это произошло примерно в 1790 году. Вскоре Мамия был усыновлен одной самурайской семьей, хотя остался жить в доме Мураками и продолжал у него учиться.

Первый шанс отличиться представился Мамия в 1799 году, когда он сопровождал Мураками в Мацумаэ, по-видимому, как помощник при геодезических съемках. В следующем, 1800 году он встретил в Хакодатэ выдающегося землемера Ино Тадатака (1745—1818). Эта случайная встреча определила весь дальнейший жизненный путь Мамия. Преуспевающий торговец лесом и винодел, Ино занимался топографией просто как любитель, но в 1795 году, когда ему исполнилось пятьдесят лет, передал все дела наследнику и уехал в Эдо, чтобы всецело отдаваться изучению астрономии и землемерных наук под руководством Такахаси Иоситоки (1764—1804), который был значительно моложе своего ученика. После пяти лет упорной учебы Ино наконец почувствовал, что «теперь может производить замеры без ошибок» [55, 75]. В 1800 году, получив официальные права, он приступил к осуществлению своей великой миссии — созданию топографических карт всей страны, делу, завершенному лишь в 1821 году, уже после его смерти. Решив начать съемку с северной части Японии,

Ино отправился в первую очередь в Хакодатэ; там он и встретил Мамия Риндзо, к которому он после этой встречи всю жизнь относился как к ученику.

Мамия прожил на Эдзо до 1811 года. Первые годы прошли, по-видимому, в съемках и составлении карт Курильских островов. В 1807 году, когда русские военные суда под командой Хвостова и Давыдова напали на остров Итуруп, разграбили и сожгли японские поселения, он как раз находился на этом острове. Мамия принимал активное участие в обороне, настаивая на активных контрмерах, в то время как японский военачальник, хорошо знавший, что может рассчитывать только на свои незначительные силы, переоценил угрозу русского десанта, не превышавшего десятка человек. Напрасно Мамия грозился донести об этой нерасторопности сёгунату; военачальник отказался хотя бы ответить на огонь, ссылаясь на нехватку боеприпасов[7]. В конце концов японцы бежали в сопки, не оказав сопротивления даже для видимости. Мамия был вне себя от ярости, но не мог же он сражаться с русскими в одиночку; в итоге ему тоже пришлось укрыться в сопках. В последующие годы Мамия с гордостью вспоминал свои заслуги в обороне Итурупа, которую в целом никак не назовешь героической. Головнин, встречавший Мамия в 1811 году, отзывается о нем иронически: «Надобно знать, что это был еще первый японец, который перед нами хвалился своим искусством в военных делах и грозил нам; за то не только мы, но и товарищи его над ним смеялись» [111, I, 275]. Вполне возможно, что именно сообщения об инциденте на острове Итуруп заставили Головнина прийти к следующему удивительному обобщению: «В японцах теперь недостает только одного качества, включаемого нами в число добродетелей: я разумею то, что мы называем отважностью, смелостью, храбростью, а иногда мужеством. Но если они боязливы, то это происходит от миролюбивого свойства их правления, от долговременного спокойствия, которым, не имея войны, сей народ наслаждается, или, лучше сказать, от непривычки к кровопролитию. Впрочем, я, с моей стороны, ошибаюсь или нет, но никак не могу

---

[7] При высадке Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова на о-ве Итуруп японский гарнизон численностью до 300 человек открыл огонь первый (прим. ред.).

согласиться, чтобы целый народ мог родиться трусами» [110, 20—21].

В результате поражения на Итурупе Хабуто Масаясу, глава магистрата в Мацумаэ, был снят с должности и признан ответственным за неспособность его подчиненных отразить атаку русских. Поведение Мамия Риндзо, однако, было оценено благосклонно, и в 1808 году ему поручили произвести геодезические съемки на Сахалине. Вероятно, его рекомендовал астроном Такахаси Кагэясу (1785—1829), сын и последователь ученого Такахаси Иоситоки [87, 94—97]. Можно, далее, предположить, что эта работа была поручена Мамия по инициативе Ино Тадатака, который представил его Кагэясу, блестящему ученому, занятому в то время составлением подробной карты мира по приказанию сёгуната. Одна область земной поверхности оставалась тайной для географов всего мира — то был Карафуто, как называли Сахалин японцы. Европейские путешественники, начиная с де Фриса в 1642 году, видели берега Сахалина, но не могли определить, был ли то остров или полуостров, связанный с Азиатским материком. Японцы занимались обследованием южной части острова начиная с XVII столетия. Что же касается остальной части Карафуто, то японские географы полагались на европейские карты: в 1785 году Хаяси Сихэй описал Карафуто как «полуостров, простирающийся на юго-восток и соединенный с западной Татарией». Мацудайра Саданобу, изучив переведенную на японский язык голландскую карту, в 1792 году заявил: «Карафуто связан по суше с Маньчжурией, Сантаном и Татарией. Теории, гласящие, что Карафуто — остров, устарели и неверны». Хонда Тосиаки в своих «Записках о Западе» высказывается более осторожно: «Некоторые считают, что Карафуто смыкается в северо-западной своей части с Сантаном, другие — что он отделен от Сантана большой рекой». А Кондо Морисигэ, следуя за многими европейскими авторитетами, выразил уверенность, что Карафуто — полуостров, а Сахалин — совсем другой, отдельный от Карафуто остров [87, 111—113]. В свете такой неопределенности нетрудно понять, что Такахаси Кагэясу был очень заинтересован послать надежного человека на Карафуто, чтобы раз и навсегда уточнить его географию.

Главным источником знаний о Карафуто служила

для Такахаси карта английского картографа Аарона Эрроусмита, которая была составлена на основании открытий, сделанных Лаперузом в 1787 году. Такахаси отозвался об этой карте в 1809 году как о «новейшей и самой ценной из всех существующих» [87, 119]. Карта Эрроусмита убедила Такахаси, в частности, что Карафуто и Сахалин фактически одна и та же территория. Такахаси не знал, что эта карта к тому времени уже устарела: в 1805 году капитан Крузенштерн, отплыв из Японии на север после неудачной миссии Резанова, тщательно обследовал восточный берег Карафуто, что позволило ему заменить догадки своих предшественников точными данными. Но даже Крузенштерн не предполагал, что Сахалин — остров.

Первоначально предполагалось послать для обследования Карафуто в 1807 году Могами Токунай и еще одного чиновника высокого ранга, но экспедицию отложили из-за нападения Хвостова и Давыдова. Затем был изменен состав экспедиции — решено было послать чиновника низшего ранга Мацуда Дэндзюро и с ним наемного помощника — Мамия Риндзо [87, 102]. Возможно, сёгунат опасался, что русские могут захватить в плен или убить исследователей, и решил, что в этом случае легче пожертвовать людьми помоложе.

Весной 1808 года Мамия отправился из Мацумаэ в Соя, на северную оконечность Хоккайдо. Там он встретился с Могами Токунай, прибывшим двумя неделями раньше,— он совершал инспекционную поездку, проверяя оборонительные сооружения,— и воспользовался советами, которые ему дал старший ученый на основании восьми путешествий на север. Спустя месяц Мамия и Мацуда были готовы покинуть Соя, чтобы пуститься в опасное путешествие. На прощание Мамия произнес речь перед одним чиновником в Соя (наверняка приняв при этом соответствующую героическую позу): «Клянусь жизнью, что вернусь, только если успешно выполню свою задачу. Если я не сумею с ней справиться, то навеки останусь в Эдзо, если потребуется один, и либо смешаюсь с прахом этой варварской земли, либо сам стану варваром. Вряд ли нам доведется встретиться вновь, но такова уже участь людских деяний — иметь начало, но не иметь конца» [87, 128].

Преодолев пролив Лаперуза, разделяющий Хоккайдо и Карафуто, спутники расстались — Мацуда отпра-

вился на север вдоль западного побережья, Мамия — вдоль восточного. Он путешествовал в долбленом айнском челне, прокладывая путь веслами, а иногда перетаскивая челн волоком через узкие полоски суши, выступавшие в море. Он затратил целый месяц, чтобы добраться до мыса Терпения. Оттуда он пытался продвигаться дальше на север, но мощное встречное течение сделало дальнейший путь невозможным. Мамия возвратился назад, в самой узкой части Сахалина, в Мануи, пересек сопки в западном направлении и в результате встретился с Мацуда в Нотэто, примерно у 51°55′ с. ш. В отличие от восточного побережья, где редко встречалось жилье, западный берег был усеян айнскими и гиляцкими поселениями. Тут были налицо следы цивилизации: староста поселка Наёро с гордостью показал им документы, закреплявшие за ним титул племенного вождя. Китайцы, по-видимому первыми достигшие этих мест в XIII веке, все еще претендовали на суверенитет над северной частью острова и облагали жителей ежегодными податями[8]. Но к этому времени их власть приобрела совершенно эфемерный характер и ежегодная подать превратилась в доходную форму меновой торговли. Тем не менее Мацуда и Мамия решили определить «границу» между китайскими и японскими владениями.

Мацуда в свою очередь до встречи с Мамия продвинулся на север до пункта, откуда через узкий пролив, который, казалось, расширялся вдали, виден был материк — земля Сантан (приморские области Сибири). Можно было рассмотреть и обширное устье реки Амур. Туземные проводники Мацуда сообщили ему, что, если бы он проехал еще шесть дней на север, он вышел бы к восточному берегу. Тогда он понял, что Карафуто —

---

[8] Положение ошибочное. Еще в 1689 г. при заключении Нерчинского мирного договора между Россией и Китаем вопрос о Сахалине не поднимался, так как маньчжурское правительство имело о нем очень туманные сведения и считало его даже отдельным «царством куев». Только в 1710 г. при составлении большой карты Китайской империи и сопредельных земель маньчжурское правительство снарядило экспедицию, которая объехала бóльшую часть Сахалина и картографировала его положение, что сделано было русскими исследователями еще во второй половине XVII в. (см. Послесловие, стр. 195). На этом «основании» маньчжурское правительство «включило» Сахалин в состав Китайской империи (прим. ред.).

остров. Открытие принадлежит Мацуда, однако почти вся честь открытия перешла к Мамия, поскольку именно он фактически обследовал весь район и доказал, что сообщения проводников соответствуют истине.

Мамия пытался уговорить Мацуда продолжить путешествие на север, но тщетно. Итак, спустя два с небольшим месяца после их высадки на Карафуто оба путешественника повернули обратно. Еще через месяц они добрались до Соя, где Мамия почти немедленно получил приказание возвратиться на Карафуто для завершения поставленных перед ним задач. Он отдыхал только двадцать дней, почти целиком посвятив их составлению официальных отчетов. Он послал также письмо и карту Такахаси Кагэясу.

Первый день Нового года — 6-го года эры Бунка (1809 г.) — Мамия провел в хижине стражника в поселении Тоннай на западном берегу Карафуто. Месяц спустя он отправился в путь на север, в июне льды растаяли настолько, что ему удалось добраться по водам пролива, который впоследствии получил его имя, к северной оконечности острова. Мамия хотел следовать дальше, вдоль восточного побережья, но айну, боявшиеся бурного моря, отказались его сопровождать, и тогда он решил пересечь пролив, чтоб высадиться на материке, на татарском берегу. Ему повезло: айну и гиляки как раз собирались ехать с очередной годовой данью на маньчжурскую станцию Дэрэн на Амуре. Мамия присоединился к ним и узнал, что здесь-то и находится источник китайских товаров, проникавших на Хоккайдо под названием «парчи из Эдзо». Айну и гиляки привозили маньчжурским чиновникам меха и возвращались домой с парчовыми тканями, которые высоко ценились.

Маньчжурские чиновники оказали Мамия хороший прием и дали разрешение свободно путешествовать в этом краю. В конце 1809 года Мамия вернулся в Мацумаэ, где в течение следующего года в сотрудничестве с одним молодым чиновником, по имени Мураками Тэйскэ, работал над двумя книгами, рассказывающими о его путешествии. Значительный этнографический интерес, который представляют эти работы, не утрачен и в наши дни. В 1811 году Мамия наконец-то покинул север и возвратился в Эдо. У него были обморожены пальцы, и вообще его здоровье было сильно подорвано.

К середине года, однако, он поправился, о чем нам известно благодаря одной записи в дневнике Сиба Кокан, где речь идет о визите Мамия [65, 400]. Мамия жил тогда в доме Ино Тадатака и учился у него точному определению широт с помощью астрономических измерений, может быть, для того, чтобы завершить создание карты Эдзо, над которой начал работать Ино [55, 134].

В том же, 1811 году японцы взяли в плен на острове Итуруп капитана Головнина и других офицеров и матросов русского военного корабля и, связав, точно преступников, увезли их в Мацумаэ, где бросили в тюрьму. Русские сошли на берег на Итурупе, потому что остро нуждались в питьевой воде и дровах, и японцы, воспользовавшись явно мирными намерениями русских, схватили их; это был акт мести за налеты Давыдова и Хвостова. В течение последующих двух лет русских непрерывно допрашивали с целью выяснить, имеют ли они отношение к нападениям Давыдова и Хвостова. Японцы не ограничивались только военными вопросами, они спрашивали о всех подробностях русской жизни, нередко доводя своих пленников до полного изнеможения. Они хотели также, чтобы пленные учили их русскому языку, в награду за что, намекали они, их могут освободить. Но капитан Головнин отказался сотрудничать с японцами: он не собирался превращаться в учителя русского языка. «Мы видим, что японцы нас обманывают и отпустить не намерены, но хотят только сделать из нас учителей, а мы их уверяем, что они ошибаются, мы готовы лишиться жизни, а учить их не станем» [111, I, 233]. Только один ученик понравился русским — это был Мураками Тэйскэ, литературный сотрудник Мамия. Головнин вспоминает: «Тэйскэ в первый день своего, так сказать, урока показал нам необыкновенные свои способности: он имел столь обширную память и такое чрезвычайное понятие и способность выговаривать русские слова, что мы должны были сомневаться, не знает ли он русского языка и не притворяется ли с намерением; по крайней мере, думали мы, должен быть ему известен какой-нибудь европейский язык» [111, I, 235].

На протяжении всех допросов Головнин протестовал, заявляя, что действия Давыдова и Хвостова не были санкционированы русским правительством и что оба офицера в наказание за самовольные нападения были

заключены в тюрьму[9]. Арао Сигэая, глава магистрата Мацумаэ, поверил его словам и высказался за освобождение Головнина, но Мамия придерживался совсем другого мнения. Лично пострадав и считая себя оскорбленным во время нападения русских на Итуруп, он требовал сурового наказания. Трудно сказать, насколько авторитетным оказалось мнение Мамия; во всяком случае, сторонники жестких мер взяли верх и освобождение Головнина было отложено.

В мае 1812 года Мамия поехал в Мацумаэ с приказом составить карту Эдзо. Он посетил Головнина, очевидно стремясь узнать, не могут ли русские научить его чему-нибудь новому в области астрономии и геодезии. Головнин так описывает своего посетителя:

«Между тем явилось к нам новое лицо: это был присланный из японской столицы землемер-астроном Мамия Риндзо... Он стал ходить к нам всякий день и был у нас почти с утра до вечера, рассказывая о своих путешествиях и показывая планы и рисунки описанных им земель, которые видеть для нас было весьма любопытно... Ему удалось быть на всех Курильских островах до семнадцатого, на Сахалине, и он достигал даже до Маньчжурской земли и до реки Амура. Тщеславие его было так велико, что он беспрестанно рассказывал о своих подвигах и трудностях, им понесенных» [111, I, 275].

Несмотря на столь частые визиты, занятия вряд ли проходили успешно. Мамия не знал русского языка, и Головнину стоило большого труда объяснить ему даже простейшие вещи. Кроме того, у Головнина не имелось ни нужных инструментов, ни книг. Тем не менее визиты Мамия продолжались. Головнин пишет:

«Хотя ученый сделался нам большим врагом, однако ж не всегда мы с ним спорили и ссорились, а иногда разговаривали дружески о разных материях, в числе коих политические предметы более прочих заслуживают внимания. Он утверждал, что японцы имеют основательную причину подозревать русских в дурных против

[9] Русское правительство, подтвердившее вхождение Сахалина в состав России, было тем не менее недовольно военными действиями, возникшими между командами Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова и японцами. Поэтому Александр I не утвердил в 1808 г. представление о награждении этих офицеров орденами за участие в русско-шведской войне (прим. ред.).

них намерениях и что голландцы, сообщившие им о разных замыслах европейских дворов, не ошибаются. Но Тэйскэ не так думал: он полагал, что голландцы с намерением внушили японскому правительству подозрение к России и Англии» [111, I, 276].

Мамия не старался облегчить положение Головнина, больше того, он придерживался резко отрицательной позиции в вопросе об освобождении пленников. Головнин считал Мамия своим главным врагом. Однако в конце концов правительство признало Головнина полностью непричастным к нападениям на Эдзо, и в 1813 году он и все его подчиненные были освобождены. Можно представить себе недовольство Мамия, но Мураками Тэйскэ и другие японцы, успевшие узнать Головнина, были искренне рады. «Действительно, японцы непритворно радовались нашему счастью. Переводчики сказали нам, что старший из священников здешнего города просил и получил от губернатора позволение пять дней сряду приносить молебствие в храме о благополучном нашем возвращении в Россию» [111, II, 201].

Почти все годы между 1812 и 1822-м Мамия жил безвыездно в Эдо, занятый изготовлением геодезических карт страны. Японские географы, в особенности Такахаси Кагэясу и Кондо Морисигэ, высоко ценили сделанные им карты. Такахаси еще в 1809 году опубликовал карту Японии и соседних с ней стран, в которой были учтены открытия Мамия в предшествующие годы [87, 188]. В 1810 году Такахаси подготовил большую карту обоих полушарий, около трех футов в диаметре каждое, но решил дождаться итогов второго путешествия Мамия, прежде чем ее обнародовать. Карта появилась на свет в 1811 году, в ней были учтены все открытия Мамия, уточняющие очертания западного берега Карафуто. Территории, куда Мамия не сумел добраться (крайняя северная оконечность острова и восточное побережье), были обозначены пунктирными линиями — свидетельство научной добросовестности, с которой Такахаси относился к своему труду картографа. Эта научная добросовестность и послужила причиной его гибели.

Такахаси Кагэясу — необычайно трагическая фигура. Ученый, занимавший самое высокое положение (он был главный придворный астроном и смотритель правительственных библиотек), пользовавшийся уважением правительства, он рискнул всей своей карьерой и

жизнью ради чести начертить точную карту Карафуто. Он знал в совершенстве голландский язык; положил начало изучению Маньчжурии. Директор голландской фактории Дёфф пишет о его тесных связях с голландцами, жившими в Японии:

«Впервые я познакомился с ним в 1810 году. Он приходил каждый день, украдкой, как неофициальный гость, и, хотя вначале его визиты показались мне несколько утомительными, я вскоре лучше узнал его — не только как способного, но и как доброго, благородного человека. Начиная с 1814 года я крепко сдружился с ним, и при моем отъезде из Японии в 1817 году он дал мне явные доказательства своей дружбы... Я поистине был смущен, когда он обратился ко мне с просьбой дать ему какое-нибудь голландское имя. Мне было неловко давать прозвище такому почтенному человеку, но он так настаивал, что в конце концов я выбрал ему имя Иоганнес Глобиус» [104, 146—147].

Под именем Глобиуса узнал его Зибольд, когда они встретились в Эдо в 1826 году. Такахаси был тогда сорок один год, Зибольду — тридцать. Оба стремились не только узнать друг от друга нечто новое, но и продемонстрировать результаты изысканий такому человеку, который способен их по достоинству оценить. Такахаси начертил для Зибольда «великолепные карты Эдзо и Сахалина» [147, 206] и сам в свою очередь расспрашивал его о разных странах. В это время от переводчика Иосио Тюдзиро (1788—1833), устроившего их встречу, он узнал, что у Зибольда имеются четыре тома «Путешествий» Крузенштерна. Он попросил у Зибольда эти книги, но Зибольд сказал, что даст их только в обмен на различные японские географические материалы, в том числе геодезические планы, сделанные Ино Тадатака. Такахаси знал, что передать эти карты Зибольду означает совершить преступление, наказуемое смертью, но решил, что пойдет на риск ради тех благ, которые сулит Японии информация, заключенная в книгах Крузенштерна. Зибольд вручил Такахаси «Путешествия» Крузенштерна, добавив к ним еще историю жизни Наполеона и карты Голландской Ост-Индии. Такахаси передал ему кроме карты Эдзо карту всей Японии, составленную Ино Тадатака в масштабе 1 : 864000 и свою собственную карту Эдзо в масштабе 1 : 432000, а также карты Южных Курил и Карафуто меньших размеров [55, 149].

Он собственноручно скопировал эти карты и по завершении работы послал их Зибольду через переводчиков, ездивших из Эдо в Нагасаки.

Получив книги Крузенштерна, Такахаси немедленно приступил к переводу, и к осени 1828 года работа вчерне была почти завершена. В это самое время Зибольд, готовясь к отъезду из Японии,— срок его службы приближался к концу — упаковывал ящики с книгами и бумагами, которые представляли собой итог его пятилетнего пребывания в стране. Такахаси не подозревал, что уже в течение нескольких месяцев находится под тайным надзором полиции, причиной чему послужил инцидент, имевший место в начале года. Зибольд, случайно познакомившись с Мамия во время последнего своего визита в Эдо, решил написать ему письмо. В посылку, предназначавшуюся Такахаси, он вложил маленький сверток для Мамия — отрез набивной ткани [87, 248] — и письмо, в котором выражал восхищение работами Мамия и надежду, что они станут друзьями, а также просил прислать ему засушенные экземпляры растений с Эдзо. Мамия, не вскрывая посылки, доставил ее властям. То обстоятельство, что Такахаси не доложил о получении посылки от иностранца, немедленно поставило его под подозрение. Впоследствии Зибольд в своих сообщениях дал высокую оценку работам Мамия и даже опубликовал перевод его «Путешествия в Восточную Татарию» («Тодацу кико»), но считал его виновником вскоре начавшегося расследования, из-за которого чуть не лишился всех собранных материалов [147, 261].

Как могло случиться, что Зибольд, живя в условиях суровых законов того времени, решился вступить в переписку с человеком, которого он почти не знал? Очевидно, прежние удачи в достижении научных целей внушили ему уверенность, что устаревшие законы не причинят ему неприятностей. Получил же он официальное разрешение открыть школу в городе Нагасаки, за пределами Дэсима. Среди японской интеллигенции и в Нагасаки и в Эдо он приобрел много друзей и учеников. Эти друзья так охотно общались с ним и так откровенно критиковали узколобую политику правительства, что Зибольд уверился: пока буква закона соблюдена, можно безнаказанно игнорировать разного рода ограничения. Может быть, ему даже казалось, что по-

литика изоляции стала уже пустой формальностью и что Япония вот-вот вступит в нормальные отношения с остальным миром. Но если таков был ход его мыслей, то вскоре он убедился, что жестоко ошибся.

В ночь на 17 сентября 1828 года на Нагасаки обрушился свирепый тайфун. Корабль, который должен был везти Зибольда и его багаж в Ост-Индию, попал в зону шторма и едва не перевернулся. С большим трудом японцам удалось пришвартовать судно к берегу и спасти груз. Позже, чтобы облегчить ремонт корабля, грузы перенесли на берег. Все содержимое подверглось досмотру, согласно правилу, по которому все товары, импортируемые в Японию, подлежали проверке (хотя это правило не распространялось на товары, вывозимые за границу). Среди имущества Зибольда, состоявшего из восьмидесяти одного ящика, были обнаружены запрещенные предметы — одежда, украшенная правительственными гербами, оружие, картины, изображающие воинов, иллюстрированное издание «Повести о Гэндзи», японские кораблестроительные инструменты, картины и зарисовки различных японских видов [21, 101—102].

Местные власти доложили об этой находке в Эдо, где немедленно началось расследование, из каких источников поступили к Зибольду эти запрещенные предметы. Таким источником вполне мог быть Такахаси, уже взятый ранее на заметку. Согласно ходившим в то время слухам, на него донес Мамия Риндзо. Автор одного письма, написанного в 1835 году, прямо называет виновником инцидента Мамия и осуждает его за «одностороннюю верноподданность» и «непросвещенную преданность» [10]. В письме говорится:

«В то время этот человек занимался по службе районом Эдзо и, хотя сам высоко ценил западную науку, ненавидел людей, которые, как он утверждал, занимаются ею лишь для собственного удовольствия. Он же, по его словам, изучал науку Запада исключительно ради общественного блага... Иногда он приходил в гости к ученым, изучавшим голландскую науку, и при этом

[10] Автором письма был Одзэки Санъэй (1787—1839), ученый школы «рангаку», впоследствии покончивший жизнь самоубийством, будучи причастным к политической группировке — так называемому Обществу стариков (Сесикай),— которой было предъявлено обвинение в деятельности, направленной против сёгуната.

тайно высматривал, нет ли у них, в их частном владении, географических карт или чего-нибудь в этом роде. В результате при его появлении все прятали свои голландские книги и тому подобные вещи... Он постоянно твердил, что всякий человек, нелояльный к правительству, обязательно подлежит смертной казни. Г-н Такахаси имел несчастье испытать укус его ядовитых зубов и узнать, что он имел в виду, говоря так» [87, 254—255].

Такахаси Кагэясу арестовали в ноябре 1828 года. Его дом подвергся обыску; книги и бумаги были конфискованы. 7 декабря с нарочным из Эдо прибыл в Нагасаки приказ Зибольду тотчас же сдать все карты Японии и другие материалы, полученные от Такахаси. Переводчик Иосио Тюдзиро убеждал Зибольда немедленно выполнить приказание, но тот отказался. Утром 16 декабря в голландскую факторию в Дэсима явились тридцать полицейских с официальным письмом, требующим передать карты. В тот же день четверым переводчикам было предъявлено обвинение в том, что они являлись посредниками в переписке Зибольда с Такахаси; все они были затем заключены в тюрьму. Зибольд, предупрежденный Иосио о том, что карты будут у него отняты, провел остаток дня и всю ночь, снимая копии. На следующее утро он вручил Иосио оригиналы, тщательно спрятав копии. Когда в конце концов он получил разрешение покинуть Дэсима, ему удалось увезти эти копии с собой в Европу.

В феврале 1829 года Зибольду вручили документ, состоявший из двадцати девяти вопросов. Ответы было приказано представить в магистрат. Большинство вопросов касалось посредников в его переписке с Такахаси; от Зибольда требовали сообщить их имена. Но он стойко отказывался дать эту информацию. Типичный вопрос (третий по счету) гласил, например: «В вашем письме от 28 февраля, написанном в Дэсима, вы подтверждаете, что посылаете Сакудзаэмону (Такахаси Кагэясу) через переводчика Гоноскэ еще одно письмо, а также „кунстkрим" в „доос"'е и словарь малайского языка Роода ван Эйсинга. Затем вы упоминаете о посылке для Риндзо. О чем говорилось в другом письме и каково содержание посылки? Кого вы просили доставить их?» [32.I.297]. В ответ Зибольд поясняет, что «кунстkрим» — просто ошибочное написание слова «кунстким», инструмента, используемого при измере-

ниях солнца, а слово «доос» — по-голландски «ящик». Содержание второго письма он точно не помнит, но высказывает несколько предположений. Что касается посылки в адрес Мамия Риндзо, то она состояла из бумажного полотенца, посланного в знак приветствия, и почтовой открытки, в которой он просил экземпляры засушенных растений. «Я не помню точно, кого я просил доставить эти вещи»,— заканчивает Зибольд [32, I, 303].

Расследование тянулось месяц за месяцем, одна серия вопросов сменялась другой, процедура усложнялась необходимостью переводить каждое слово на японский или на голландский язык с максимальной точностью. Тем временем было арестовано двадцать три человека из числа знакомых Зибольда, общавшихся с ним в Нагасаки, среди них известный артист Кавахара Кэйга [11]. В Эдо тоже производились аресты. Хабу Гэнсэки (1768—1854), личный врач сёгуна, славившийся искусством лечить глазные болезни, был обвинен в том, что подарил Зибольду свою одежду, украшенную гербами сёгуна. Хабу сделал этот подарок Зибольду в обмен на сообщение об одном лекарстве, применяемом при определенной глазной болезни, т. е. ради получения информации, явно полезной для страны. Тем не менее он был признан виновным в тяжком нарушении закона и в 1830 году лишен самурайского звания [21, 136]. Сам Такахаси умер от болезни в тюрьме 20 марта 1829 года. Тело его было законсервировано в рассоле впредь до вынесения приговора [12]. Приговор гласил, что, если бы Такахаси был еще жив, он подлежал бы смертной казни. С мертвого тела Такахаси срубили голову. Такова судьба одного из самых блестящих ученых своего времени.

---

[11] Кавахара Кэйга, единственный художник, свободно посещавший о-в Дэсима с разрешения властей, написал много портретов голландцев, с которыми он общался [53, 109—113].

[12] В книге Аюсава Синтаро «Ямамура Сайскэ» [5, 19—20] есть отмеченный мрачным юмором эпизод, касающийся дальнейшей судьбы мертвого тела Такахаси. Как это ни невероятно, имел место длительный спор, как хранить тело — в сахаре или в соли. Люди, настаивавшие на том, чтобы хранить тело в сахаре, очевидно исходили из игры слов-омонимов «тэммондо» («искусство астрономии») и «тэммондо» (название растения, корни которого обычно засахаривали как сладости). В конце концов представитель правительства высказался в пользу соли.

В октябре 1829 года приговор был вручен также и Зибольду. В течение всего этого долгого срока он и его знакомые подвергались неоднократным допросам, а некоторые из его друзей — пыткам. Сообщения о страданиях его друзей, за которые Зибольд винил себя, доводили его до отчаяния. Он казнил себя тем, что нарочно выходил раздетый на жестокий холод, когда дули зимние ветры, а когда друзья пытались остановить его, он отвечал: «Как же я могу сидеть спокойно, когда мои ученики и друзья подвергаются из-за меня такой опасности и терпят такие муки» [32, 356—358]. Однажды он заболел, до смерти напугав свою возлюбленную Соноги, заметившую, что он одет в черное и держит в руке кинжал, готовясь покончить с собой. Ей удалось отговорить его от самоубийства только тем, что она заявила, что умрет вместе с ним. Приговор, последовавший в октябре, оказался легче, чем ожидал Зибольд: ему приказывали покинуть страну с первым же отходящим из Японии кораблем и никогда больше не возвращаться. Тяжкое преступление, состоявшее в том, что он принимал запрещенные предметы и пытался вывезти их за границу, усугублялось его отказом открыть правду во время следствия. Как смягчающее обстоятельство было принято во внимание, что ему могли быть неизвестны японские законы, поскольку он впервые прибыл в Японию. Тем не менее он нарушил закон и, следовательно, считался виновным.

30 декабря 1829 года Зибольд покинул Японию, оставив в Нагасаки Соноги и маленькую дочь Инэ. Он вернулся в Европу, где его книги о Японии обеспечили ему почетное место среди ученых-натуралистов. В 1858 году с подписанием торгового договора между Японией и Нидерландами японское правительство простило Зибольду его преступления. В период между 1859 и 1869 годами он вторично побывал в Японии, тепло встреченный друзьями тридцатилетней давности, но воспоминания о трагических событиях, сопровождавших его отъезд, вероятно, омрачали в его глазах знакомый пейзаж.

Мамия Риндзо, которого Зибольд считал виновником обрушившихся на него бед, заслужил хвалу ультрапатриотов, одобрявших его бескомпромиссную преданность, но большинство интеллектуалов, даже те, кто был к нему близок, презирали его за предательство по

отношению к Такахаси и Зибольду [87, 275]. Мамия, несомненно, был убежден, что действовал как настоящий верноподданный. Он не мог сочувствовать никому, кто нарушает закон, каковы бы ни были побуждения нарушителя. Упорство и решительность, которые вели Мамия вперед в его одиноких странствиях, отнюдь не сочетались в нем с гибкостью ума, допускающей, что правда не всегда должна быть однолинейной.

В 1829 году он сделался осведомителем правительства, выполнял секретные поручения, следя за подозрительной деятельностью различных лиц в разных частях страны. Свою первую миссию он выполнял в Нагасаки, куда его послали для слежки за нелегальной торговлей с голландцами. Один японский знакомый Яна Овермеера Фишшера (служившего в Дэсима с 1820 по 1829 год) встретил Мамия у входа в лавку, где хотел купить какую-то контрабандную вещь, и, зная, что Мамия — шпион, в ужасе убежал [138, 42]. Но самые большие успехи Мамия одержал в Сацума — владениях, обычно недоступных для секретных агентов сёгуната. Он провел здесь три года, изучая ремесло обойщика, чтобы проникнуть в замок князя. В других случаях он нередко принимал облик нищего или парии.

В последующие годы Мамия вращался в обществе правительственных шпионов и ультрапатриотов. Ватанабэ Кадзан (1793—1841), умерший в тюрьме, куда его заключили по доносу осведомителя, сообщившего о его антиправительственных настроениях, писал в 1831 году: «Мамия Риндзо был моим подчиненным. Он был весьма способным шпионом, но нрав имел очень своеобразный и был так упрям, что сладить с ним было крайне трудно» [87, 313][13]. Токугава Нариаки из Мито, человек непримиримо шовинистической ориентации, пригласил Мамия в свои владения, где тот сблизился с учеными националистического толка, такими, как Фудзита Токо. Известно, что в конце своей жизни Мамия регулярно получал жалованье от клана Мито.

Трудно думать без отвращения о Мамия Риндзо, исследователе севера, окончившем свою жизнь в роли платного осведомителя. Тем не менее это не снимает его заслуг перед географической наукой — не только

[13] Ватанабэ, бывший начальник Мамия по секретной шпионской службе, выступает в этих записках под именем Накагава Тюгоро.

японской, но и общемировой. И, может быть, высшей похвалы он удостоился от соперника. В 1834 году, когда Зибольд показал капитану Крузенштерну карту, основанную на открытиях Мамия двадцатипятилетней давности, с проливом, отделяющим Сахалин от материка, капитан воскликнул: «Les Japonais m'out vaincu!» («Японцы меня победили!») [148, 339][14].

---

[14] Достоверность этого факта сомнительна, так как И. Ф. Крузенштерн до конца жизни считал Сахалин полуостровом (прим. ред.).

Глава VII

ХИРАТА АЦУТАНЭ И ЗАПАДНАЯ НАУКА

Большинство людей, занимавшихся голландской наукой, получили воспитание в духе неоконфуцианства, которое, несмотря на все перемены, происшедшие с ним к началу XIX века в Японии, первоначально возникло из чисто научного интереса к «познанию вещей». Легко представить себе привлекательность западных научных методов для людей этого типа. Гораздо удивительнее, что голландской наукой увлекались также приверженцы национальной религии синто. Среди этих последних самой интересной и колоритной личностью был Хирата Ацутанэ (1776—1843). В детстве Хирата получил конфуцианское образование, хотя, если верить семейным преданиям [1], учился так плохо, что приводил в отчаяние отца и был посмешищем родной деревни. Чтобы избавиться от унижений и добиться славы, он девятнадцати лет убежал из дому в столицу, готовый принять любые идеи, лишь бы они сулили успех. Живи он в более поздние времена и не в столь сурово регламентированном обществе, он, вполне вероятно, вступил бы в какую-нибудь политическую партию или основал бы новую...

После нескольких лет жизни впроголодь, о которой не сохранилось почти никаких сведений, Хирата стал приемным сыном одного самурая и принял его имя,

---

[1] Это подтверждает Овада Ноританэ, племянник Хирата, в 1876 г. [88, 9—10].

оставив прежнюю фамилию Овада. Новое положение позволило ему целиком предаться науке. В годы скитаний Хирата ознакомился с трудами китайского философа — даоса Чжуан Цзы — и горячо увлекся его философией. Этот интерес к даосизму (довольно редкое явление в Японии тех лет) он сохранил до конца своих дней; влияние даосизма отчетливо прослеживается во многих его концепциях. Изучением религии синто, главным делом всей своей жизни, он начал заниматься только с 1801 года. К несчастью, выдающийся ученый синто Мотоори Норинага (1730—1801) умер раньше, чем Хирата успел поступить к нему в ученики. Тем не менее впоследствии Хирата неизменно называл себя учеником Мотоори на том основании, что однажды Мотоори явился ему во сне и по всей форме зачислил его в свои ученики. Хирата сложил даже по этому поводу два стихотворения [88, 19—21].

Трудно точно определить, с какого времени Хирата заинтересовался западными науками. Уже в первой из своих главных работ — «Новые рассуждения о богах» («Кисин синрон», 1805) — Хирата обнаруживает некоторое знакомство с европейскими изобретениями. Он пространно описывает, как «несколько лет назад» (возможно, в ту пору, когда он только начал изучать синто) он присутствовал в доме своего друга при демонстрации электростатической машины. Когда «эрикэтэру», как называлась эта машина, произвела вспышку, похожую на молнию, друг Хирата, обратившись к нему, сказал: «Точь-в-точь такие же принципы управляют громом и молнией в небесах. Как глупы люди, которые боятся грома только потому, что не знают этих законов! Чего тут бояться?»

Хирата ответил: «Это поистине весьма хитро устроенная машина, но совсем другое дело, возникают ли настоящие гром и молния по таким же законам? Допустим даже, что это так; однако верно и то, что, хотя мы можем заставить машину произвести молнию, она не способна сделать это сама. Машина сделана людьми и подчиняется человеку, поэтому ее нечего бояться. Настоящая же молния свирепствует и бушует в небесах по собственной воле, сокрушая деревья и раскалывая огромные валуны где и когда захочет. Допустим, что совершается это беспристрастно и непредумышленно, но с древних времен и до наших дней имеется бесчис-

ленное множество примеров, когда молния поражала насмерть именно людей, творивших зло, и предметы, навлекавшие зло... Как же можно объяснить законы, управляющие столь священными и непостижимыми явлениями, с помощью машины, созданной скудным разумом человека? Я категорически отвергаю столь поверхностные суждения. Если вы действительно хотите постичь такие явления, забудьте на время мелочные ухищрения науки, созданной человеком, и с чистым сердцем обратитесь к изучению деяний древних» [44, III, 12—13].

Это замечание ясно показывает разницу в подходе к западной науке между Хирата и подлинными учеными «рангаку». Друг Хирата считал, что наука наконец-то позволяет человеку избавиться от суеверного страха перед неведомым. Хирата же, принимая голландскую науку и даже отстаивая ее необходимость, в то же время отрицал, что наука способна объяснить природу молнии или любую другую тайну вселенной, к которым он вместе с тем питал жгучий интерес. Он изучал голландскую науку не ради нее самой, а главным образом для того, чтобы с ее помощью опровергнуть конфуцианские или буддийские верования и тем самым прямо или косвенно подкрепить доктрины религии синто. «Единственным резоном для изучения чужеземных книг,— писал он,— является та потенциальная выгода для Японии, которая в них содержится» [44, I. 4].

Что заимствовал Хирата из наук Запада

Почти все аргументы Хирата, даже основанные всецело на доказательствах, заимствованных из достижений западной науки, заканчиваются утверждением: японцы не только не похожи на «китайцев, индийцев, русских, голландцев, сиамцев, камбоджийцев и все другие народы», но намного их превосходят [44, I, 23]. Выводы Хирата, как правило, пристрастны и не слишком оригинальны. Еще Китабатакэ Тикафуса (1292—1354) за много лет до Хирата утверждал, что Япония — страна богов, японцы — потомки богов, а Япония своей нерушимой в веках императорской династией превосходит все страны мира. Все это — излюбленные тезисы Хирата. Писания Хирата интересны для нас благодаря тому методу, с помощью которого он приходит к этим выво-

дам. В отличие от Китабатакэ, Хирата наравне с духовным превосходством учения синто подчеркивал научную сторону этой религиозной доктрины. Он сорвал маску учености с приверженцев конфуцианства, знавших лишь ограниченное число классических книг и гордившихся даже малым умением слагать китайские стихи и прозу. Буддисты образованны гораздо лучше, утверждал он, потому что вынуждены кроме конфуцианской классики читать «Трипитаку» (или в крайнем случае отдельные ее главы). Но японская наука, по мнению Хирата, самая совершенная из всех, ибо включает в себя и буддизм и конфуцианство. «Синто подобно большому морю, в которое впадает множество рек»,— заканчивает Хирата. Таким образом, человек, пожелавший постичь чистое и истинное учение Японии, должен быть знаком со всеми науками. Пусть они чужеземные науки, но если японцы, изучив их, отберут все лучшее из этих наук, они могут принести Японии пользу. Поэтому вполне уместно говорить о китайской и даже индийской или голландской науке как о японской [44, I, 6—7].

Большинство ученых синто, современников Хирата, не разделяли его взгляды на важность иностранной науки. Он подвергался жестоким нападкам за то, что признавал западные теории в области медицины и астрономии. По мнению его оппонентов, ученые, посвятившие себя изучению древней японской науки, не должны осквернять слух пустыми умозаключениями о вращении Земли — им надлежит соблюдать простосердечие и чистоту помыслов людей древности [44, II, 58]. Хирата отвечал, что долг ученого состоит не в попытках подражать чистосердечию древних, каким бы достойным восхищения оно ни было, а в поисках истины. Один из его противников, ссылаясь на то место в сочинениях Хирата, где говорилось, что поверхность Луны, наблюдаемая в телескоп, напоминает поверхность Земли, заявлял: «Вполне возможно, что на Луне есть предметы, похожие очертаниями на страны света, но мы не должны верить тому, о чем нет упоминания в древних книгах». Хирата саркастически замечает: «Если вы отказываетесь верить тому, о чем не упоминают древние книги, вы не должны также верить тому, что известно нам ныне о внутренних органах человека, ибо об этом тоже нет упоминания у классиков. Но станете ли вы утверждать, что эти органы не существуют?» [44, II, 60].

Японцы должны усвоить все ценное, чем богата наука Запада, утверждал Хирата. Только новички, не уверенные в собственных силах, или такие самодовольные люди, как китайцы, могут отказаться от пользы, которую приносят многие достижения этой науки [44, II, 17]. Разумеется, не все в западной науке приемлемо. Некоторые теории, например, такие, как утверждение, будто каждая неподвижная звезда сама по себе является солнцем, должны быть отвергнуты как беспочвенные выдумки [44, II, 13]. «Причина, в силу которой эти варвары придумали подобные глупости... состоит в том, что родились они в далеких и гиблых краях, отдаленных от Божественной Страны, и не имели возможности услышать мудрые слова древности из божественных уст бога Мусуби-но Ками» [44, II, 14] — в таком стиле рассуждал Хирата о теории, умалявшей, по его мнению, исключительное и главенствующее значение солнца и богини солнца. Но в целом Хирата был готов принять западную науку, за исключением тех моментов, где она, как ему казалось, вступала в непримиримое противоречие с доктринами синто. Он считал западную науку полезной с самых разных точек зрения. Хирата был не только теолог, но и практикующий врач. При лечении он, возможно, пользовался советами европейской медицины, почерпнутыми из книг[2]. Западная медицина его восхищала. «Нечего и говорить, как преуспели они в астрономии и в географии. Поражает также точность их инструментов и машин. Но особенно искусны они в медицине и в изготовлении лекарств. Несомненно, по вышней воле богов европейские книги попали в нашу страну и постепенно получили все большее распространение» [44, I, 22]. Он даже писал однажды по поводу какого-то суждения в области медицины: «Поскольку европейцы разделяют это мнение, значит, нет никаких сомнений в полной его справедливости» [44, I, 76]. В отличие от китайских врачей, которые прибегают к интуиции, европейцы основывают свое учение на реальных наблюдениях и неизменно вскрывают тела больных, умерших от

[2] Хотя Хирата, возможно, и признавал некоторые приемы европейской медицины, однако он во многом полагался на магию и заклинания. Так, он учил своих учеников: для того чтобы привести в чувство человека, находящегося в обморочном состоянии, нужно громко крикнуть его имя в домашний колодец, который считался кратчайшим путем в потусторонний мир [см. 7, 219—221].

какой-нибудь необычной болезни. «Вскрытие сотен тел, которое они производили на протяжении полутора тысяч лет» [44, I. 60], чрезвычайно обогатило медицинские познания европейцев. Тем не менее Хирата не считал целесообразным, чтобы японцы сами производили вскрытие: «В этом есть что-то варварское, это не пристало японцам». Тем, кому не ясны анатомические рисунки в книгах, переведенных с голландского, он рекомендует вскрывать животных, предпочтительно обезьян, так как их внутренние органы устроены совершенно так же, как у людей [44, I, 76—77].

Хирата признавал, что японская медицина отставала по сравнению с западной и китайской, но у него имелось наготове объяснение этого явного пробела в культуре Японии: оказывается, медицина не получила развития в древней Японии потому, что в ней не было нужды. Японцы никогда не страдали от серьезных недугов, пока не вступили в контакт с Китаем и другими странами, вредоносный климат которых служил причиной бесконечных заболеваний [44, I, 22—27]. Для лечения болезней, по сути своей иноземных, вполне уместно обращаться и к иноземной же медицине. Конечно, применять иностранные методы лечения надо с величайшей осмотрительностью; неопытный врач, предписывающий какое-нибудь сильнодействующее голландское лекарство, подобен «обезьяне, вооруженной мечом».

Утверждение, что отставание медицинской науки в Японии явилось следствием врожденного здоровья японцев,— типичный аргумент Хирата в полемике с противниками синто и культа древней Японии. Так, например, конфуцианский ученый Дадзай Дзюн (1680—1747) писал, что отсутствие в японском языке исконно японских слов для передачи понятий «гуманность», «прямодушие», «ритуалы», «музыка», «сыновняя почтительность», «целомудрие» свидетельствует о том, что в древние времена в Японии не существовало учения синто — пути богов. Хирата возражал: «Поскольку люди в древней Японии всегда вели себя надлежащим образом, не было никакой особой необходимости учить их Пути» [44, I, 96—97]. Святые мудрецы в Китае были вынуждены провозгласить законы о браке, потому что в древности китайцы совокуплялись, как животные, в Японии же, начиная с самых отдаленных времен, поведение мужей и жен всегда было безупречным и, следовательно, настав-

ления или какие-либо особые понятия, направляющие поступки людей, были излишними [44, II, 26]. «Там, где существует истина, учения не нужны»,— провозглашал Хирата, несомненно, под влиянием даосизма [44, I, 14].

Западная наука не только восполняла пробелы, возникшие кое-где в японской науке по причине врожденного здоровья и безупречной морали благоденствовавших предков, но и служила подтверждением правоты учения, изложенного классиками [44, II, 26]. Так, например, гелиоцентрическая система Коперника подтверждала величие богини солнца, и даже солнечный календарь свидетельствовал о том, насколько правы те, кто почитает это великое божество. Хирата советовал не воспринимать учение о вращении Земли как некую иностранную теорию, ибо это учение находилось в согласии с фактами, явственно изложенными в древней классической литературе. И вообще вполне возможно, что эта теория проникла на Запад из Божественной страны, кружным путем через Индию [44, II, 65]. Безудержный национализм перемежался у Хирата с чистосердечными признаниями превосходства западных достижений в области астрономии и географии, которые он считал «самыми точными и наиболее понятными» науками [44, I, 52]. Он хвалил Нисикава Дзюн (1648—1724) за то, что тот познакомил японцев с европейской наукой: «До него люди ничего не знали об астрономии, географии или об обычаях других стран» [44, I, 54].

Познания Хирата в западной астрономии, хотя и не вполне основательные, были все же необычно обширны для его современников. Он был знаком с японскими трудами, популяризирующими науку Запада, и умел без труда произвести, например, расчет Солнца или сравнительных размеров Юпитера, Марса и планет [44, II, 14]. Но Хирата интересовался западной астрономией не столько, как таковой, сколько для того, чтобы с ее помощью подкрепить свои собственные тезисы. Он почти в такой же мере поддерживал абсолютно ненаучные астрономические выкладки, если он мог извлечь из них пользу. Так, он подробнейшим образом расспрашивал Торакити, а несколько лет спустя Кацугоро — двух «божественных юношей» [95]. Первый из них утверждал, что прожил несколько лет на том свете среди дьяволов, а второй — что родился во второй раз. С полной серьезностью Хирата передает фантастический рассказ То-

ракити о его посещении «Острова Женщин», якобы расположенного на расстоянии около тысячи миль к востоку от Японии, и других легендарных стран [44, III, 56]. На вопрос Хирата, правда ли, что поверхность Луны, подобно Земле, состоит из гор и морей, как об этом пишут в европейских книгах по астрономии, юноша засмеялся и сказал: «Ваши сведения неверны, потому что все это вы взяли из книг. Я ничего не знаю о том, что говорится в книгах, знаю лишь то, что видел сам, когда находился вблизи Луны. Мой учитель тоже говорил мне, будто там имеются горы, однако, когда я очутился совсем близко от Луны, я увидел три большие дыры, сквозь которые виднелись звезды на другой стороне. Нет никакого сомнения, что эти дыры существуют» [44, III, 171].

Луна особенно интересовала Хирата, потому что играла важную роль в его религиозном учении. Некоторые ученые синто считали, что Луна все еще является обиталищем мертвых. Но, по мнению Хирата, Луна, бывшая когда-то частью Земли и потому легко доступная для мертвых, перестала играть роль загробного мира с тех пор, как оба небесных тела разделились [44, II, 19][3]. Услышав, что европейцы изобрели мощный телескоп, с помощью которого удалось рассмотреть на Луне лошадей и людей, он был взволнован и немедленно попросил снабдить его информацией об этом открытии, включая зарисовки лунных людей [7; 604, 676].

Если интерес Хирата к западной астрономии объяснялся стремлением подкрепить свои религиозные догматы, то изучение географии было для него средством показать, что Япония — самая благословенная страна на свете. Людям, считавшим Японию маленькой, второстепенной страной, в особенности конфуцианцам, Хирата заявлял: «Как бы мала ни была совершенная страна, она все равно будет совершенной, и как бы велика ни была страна, лишенная достоинств, она таковой и останется. На карте мира мы видим много огромных стран, таких, как Россия или Америка, однако целые области этих стран не имеют ни населения, ни растительности. Разве можно называть такие страны совер-

[3] Мнение Хирата, что Луна оторвалась от Земли, возможно, подсказано теорией происхождения солнечной системы Бюффона, которая излагалась во многих голландских трудах по астрономии, доступных японцам в те времена.

шенными?» [44, I, 43]. В отличие от этих унылых пустырей Японии повезло — она удачно расположилась между 30° и 40° с. ш., наслаждаясь, таким образом, размеренной сменой времен года [44, IV, 138—139][4]. Обилие самых разнообразных продуктов обеспечивало Японию всем необходимым, благодаря чему она не зависит от капризов торговли с иностранцами. Насколько же Япония прекраснее Голландии, холодной страны со скудными естественными ресурсами, которой, чтобы избежать гибели, не оставалось ничего другого, как пуститься в торговлю с более счастливыми странами! Тот факт, что другие страны уговаривают Японию торговать с ними, свидетельствует об особом покровительстве ей богов, которое поистине признает весь мир[5].

Отчего же Японии так повезло по сравнению с другими странами? Ответ на этот вопрос Хирата видел в происхождении Японии. В отличие от всего остального мира, сделанного из смеси грязи с морской водой, Японию создали божества Идзанаги и Идзанами. Более того, особо удачное географическое положение Японии подтверждается и в западных книгах. В них упоминается, например, о страшном наводнении, которое уничтожило почти все человечество. Только Ной и еще несколько человек избежали гибели во время потопа в Европе. Хотя даты потопа соответствуют «эре богов» в японской истории, в японских хрониках нет ни малейших упоминаний об этом бедствии. Отсюда, по мнению

---

[4] Хирата пишет, что Япония отличается как от холодных стран, подобных России, где солнце светит так слабо, что морская соль лишена всякого вкуса, так и от жарких стран, подобных Индии, где солнце так горячо, что соль становится слишком горькой и несъедобной (этим и объясняется, по мнению Хирата, то обстоятельство, что русские в составе посольства Резанова 1804 г. чрезвычайно дорожили каждой крупинкой соли, полученной от японцев).

Источником подобных утверждений Хирата, возможно, послужил японский перевод «Истории Японии» Кемпфера. «Климат в Японии исключительно умеренный,— писал Кемпфер,— не подверженный ни палящему жару солнца более южных стран, ни суровому холоду стран более северных. Общеизвестно, что на свете нет стран более плодородных, приятных и подходящих для жизни, чем те, которые расположены между 30-м и 40-м градусами северной широты» [118, III, 313].

[5] Кемпфер описывал «японцев, которые, ограничиваясь пределами своей империи, наслаждаются миром и довольством, не стремясь к какой-либо торговле или общению с чужеземными народами, ибо счастливое устройство их государства таково, что оно может существовать без оных» [118, III, 304].

Хирата, следует, что Япония расположена выше над уровнем моря, чем Европейский материк. Что же касается Китая, где наводнение не причинило таких бедствий, как в Европе, или Кореи, вообще избежавшей потопа (свидетельство чему — молчание корейских хроник), то обе эти страны спаслись от потопа, несомненно, благодаря своей близости к Божественной стране. «Так разве же не следует отсюда, что Страна микадо — вершина мира?» — заключает Хирата [44, II, 69].

По мнению Хирата, он использовал материалы западной науки в полном соответствии с тем, что считал ее подлинной сутью.

«Ученые „рангаку" неправильно понимают истинный смысл своих занятий,— писал он.— Они называют себя учеными и заявляют, что могут объяснить все на свете с помощью научных законов. Тем самым они противоречат духу европейцев, которые именуют все, чего им не удалось постичь, несмотря на длительный и упорный труд, „делом божиим" и ревностно почитают своего бога. Очевидно, ученые „рангаку", всячески порицая китайскую науку и объявляя ее несовершенной, все-таки не сумели освободиться от китайского способа мышления. Как я уже писал в „Новых рассуждениях о богах", в древние времена китайцы не были атеистами, но с течением времени, по мере распространения поверхностных, неглубоких идей, они утратили веру в старинные предания о Небесном Властителе (тянь-ти) и в потусторонний мир. Эти атеистические взгляды проникли в Японию и получили здесь распространение. Нынешние ученые „рангаку" начали свое образование с китайских текстов, и неглубокие идеи, с детства ими усвоенные, стали, как видно, препятствием на их пути к знаниям. Они говорят об узости китайской науки, не будучи способными при этом критически посмотреть на самих себя. Это похоже на человека, пробежавшего вспять пятьдесят шагов и начавшего насмехаться над тем, кто пробежал сто... Как противоречат их взгляды подлинному смыслу голландской науки!» [44, II, 96].

Таким образом, в соответствии с той интерпретацией, которую давал Хирата понятию «рангаку», только он один мог считаться подлинным последователем этой науки. Познания в области медицины, астрономии и других областях он пытался сочетать с ревностным, благочестивым почитанием богов, властвующих над тем,

что непостижимо. При этом ему было недостаточно обычных сфер деятельности ученого «рангаку»: в толковании священных текстов религии синто он стремился использовать также и знакомство с религиозными учениями Запада.

Теологические заимствования Хирата

Первые суждения Хирата о религии Запада можно найти в его «Новых рассуждениях о богах», работе, в значительной степени посвященной критике конфуцианского атеизма. Хирата в высшей степени почитал Конфуция (настолько, что превозносил его даже как обладателя «японского духа», несмотря на то что тот был китайцем), но не испытывал ничего, кроме ненависти и презрения, к его самозваным последователям. Опровергая конфуцианское представление о том, что солнце олицетворяет собой *ян* (мужское, положительное начало), Хирата с восхищением писал о голландцах, которые, несмотря на презрительное прозвище «рыжие варвары», данное им китайцами, признают и благоговейно почитают богиню солнца как высшее божество. Он слыхал, что голландцы славят эту богиню каждый день на рассвете и при закате; это сообщение он сопровождает ремаркой: «Разве это не прекрасный обычай?»

Эти забавные и весьма путаные представления вскоре сменились у Хирата гораздо более точными сведениями о верованиях голландцев и других европейцев. Каким-то образом он раздобыл по меньшей мере три христианские книги, написанные по-китайски иезуитскими священниками: «Десять глав одного эксцентрика» (1608), «Истинный смысл христианства» Маттео Риччи (1603) и «Семь искушений» Дидакуса де Пантойя (1614) [6]. Все три книги были запрещены правительством в 1686 году. Суровое наказание ожидало каждого, у кого они были бы обнаружены. Так, в 1827 году один ученый «рангаку» был распят на кресте за то, что хранил запрещенные книги [7]. Тем не менее из различных

---

[6] Эти труды соответственно называются по-китайски «Чжи-янь ши-пянь», «Тяньчжу ши-и», «Цзи кэ». О первом из этих трудов см.: П. Д. Элиа, Sunto Poetico-Ritmico di Dieci Paradossi di Matteo Ricci,— «Rivista Degli Studi Orientali», XXVII, Fasc i-iv, Rome, 1952.

[7] Это был Фудзита Кэндзо из г. Осака. Он был замешан в су-

источников известно, что отдельные экземпляры тайно передавались из рук в руки. Хирата был связан с учеными из Мито, где был центр исторических исследований и имелось собрание христианских книг и предметов культа. Возможно, что книги он получил оттуда. Во всяком случае, его труд «Внешние главы нашего учения» (1806) не мог быть написан без знания этих трех христианских книг, и вполне возможно, что он читал также и другие произведения христианской литературы.

«Внешние главы» не публиковались при жизни Хирата, он собственноручно пометил рукопись: «Не показывать посторонним» [44, II, 1].

Важнейшей, очевидно, является первая часть работы, которая является японским парафразом «Десяти глав» Риччи. Хирата существенно изменил если не идеи, то терминологию христианского текста. Там, где у Риччи, например, конфуцианский ученый говорит: «Мы считаем человека самым благородным созданием земли и неба», у Хирата «некий человек» заявляет: «Не только в нашем древнем японском учении синто, но даже в учениях Китая человек почитается верховным созданием среди всего сущего». В тексте Риччи в ответ на вопрос, правда ли, что человек совершеннее всех животных, говорится: «Бог поместил человека в мире, чтобы испытать его душу и определить, на какие доблестные деяния он способен. Таким образом, этот мир — наше временное обиталище, а не вечный приют». Хирата передает формулировку Риччи таким образом: «Этот наш мир не настоящий мир. Боги создали человека в этом мире для того, чтобы очистить его душу и испытать, на какие доблестные деяния он способен. По этой причине они послали его временно обитать в этом мире». Во второй части «Внешних глав» в отличие от первой Хирата почти слово в слово приводит отрывки из «Семи искушений». Единственные изменения, введенные им в текст Пантойя, сводятся к отдельным словам, которыми он заменяет христианские термины для передачи понятия верховного существа.

Трудно дать точную характеристику этим «Внешним

дебном процессе по делу «Киришитан-баба» («Старухи-христианки»): книги были найдены у него. Любопытно отметить, что к смертной казни (распятие) его приговорил известный Осио Хэйхатиро [см. 60, VI, 575—576].

главам»[8]. Если Хирата был искренен, когда писал эту книгу, то, очевидно, чувствовал, что доктрины синто и христианства очень близки друг другу, поэтому он точь-в-точь воспроизводит мнения Риччи или Пантойя, заявляя при этом, что это доктрины синто. В более поздних работах Хирата часто цитировал постулаты христианства и других иностранных религиозных верований и объявлял их производными от синтоистских истин (так поступил он, например, с историей Адама и Евы, несколько напоминающей рассказ об Идзанаги и Идзанами), но во «Внешних главах» он почти без изменений воспроизвел христианские доктрины. Словом, он цитирует Новый завет так, будто это классическая книга религии синто.

«Внешние главы» играют важную роль при изучении наследия Хирата, ибо помогают понять, какое влияние оказала их христианская идеология на его последующие труды. Можно довольно определенно утверждать, что идеи «Внешних глав» пронизывают и его дальнейшие произведения. Так, например, представления Хирата о загробном мире возникли, по-видимому, под влиянием христианства. Впрочем, объяснять происхождение его взглядов исключительно влиянием христианства можно лишь с большой осторожностью, потому что христианская и буддийская идеи рая, где добродетельные люди получают награду, и ада, где наказывают злых и порочных, очень близки друг другу, по крайней мере в общих чертах, и трудно сказать, какая именно из этих двух религий оказала влияние на Хирата. Несомненно одно: внешнее влияние имело место — в чистом синто не было представления о рае и о аде. Мотоори, основываясь на древних текстах, считал, что души мертвых отправляются в страну мрака — «ёми», печальный, загробный мир. Но Хирата претила подобная точка зрения, потому что в отличие от Мотоори он не верил в спасительную помощь Будды Амитабы, которая несколько дополняла религию синто, не

---

[8] Открытие значения «Хонкё Гайхэн» и указание на источники сведений Хирата о христианстве — заслуга покойного проф. Мураока Цунэцугу. Проф. Мураока считал, что труды Хирата написаны под значительным влиянием христианства, однако он не учитывал, что многие сходные с христианскими доктрины, встречающиеся в трудах Хирата, могли быть навеяны буддизмом, браманизмом или другой религией [42, 297—314].

проповедующую утешение. Хирата вынужден был искать утешение в самом вероучении синто, и вот под влиянием иностранных религиозных доктрин он провозгласил собственное представление о желанном, отрадном загробном мире, ожидающем всех, кто того заслужил [42, 299—300]. Для Хирата этот мир стал «подлинным», «настоящим», реальный же мир был только его преходящим, временным отражением.

Представление об аде оформилось в теологии Хирата, по-видимому, несколько позже. В своих ранних сочинениях он отвергал веру в наказание после смерти за грехи, совершенные на земле, считая эту идею буддийским ханжеством. Однако впоследствии под влиянием многочисленных «аутентичных» рассказов об аде в японских и китайских источниках он стал разделять это представление [42, 311]. Но все же его всегда гораздо больше занимала мысль о рае, может быть потому, что он твердо верил, что ему уготована участь попасть только туда. В длинном лирическом отрывке, стилизованном в духе древней литературы, Хирата рассказал, как после смерти, где бы ни предали земле его бренное тело, он отправится на гору Ямамуро, местопребывание духа его учителя Мотоори. Он намеревался взять с собой свою недавно скончавшуюся жену, хотя она была всего лишь женщиной, потому что она весьма поощряла его занятия синто. Там, на священной горе, они будут наслаждаться втроем красотой цветущих вишен весной, зеленеющими горами летом, красными листьями и луной осенью и белым снегом зимой. Но если какие-либо злокозненные варвары дерзнут обратить оружие против Божественной страны, Хирата испросит у Мотоори милости отпустить его, дабы в рядах Божественной армии защищать Японию. Он полетит к месту сражения, вооруженный копьем «о восьми пядях» в правой руке, луком из дерева «маюми» — в левой, с колчаном, полным стрел, за спиной и с мечом «в восемь обхватов» на боку. Вместе с богами он будет разить варваров, срубая их ненавистные головы... Когда же победа будет одержана, он вернется на гору Ямамуро и расскажет обо всем Мотоори. «О, как счастлив я буду!» — восклицал Хирата.

Свою идею загробного мира Хирата пытался доказать цитатами из священных книг синто, в особенности из «Кодзики» и «Нихон-сёки», хотя оба эти сочинения

имеют, в сущности, очень отдаленное отношение, вернее сказать, не имеют почти никакого отношения к его теориям. Вполне возможно, что христианские доктрины, к которым он фактически присоединяется во «Внешних главах», могли оказать влияние на его мышление, или, может быть, он допускал — вопреки собственной воле — правомерность некоторых буддийских догм. Разумеется, сам Хирата не признавал, что в его учении присутствуют какие-либо элементы иностранных теорий, и всегда настаивал на том, что его идеи чисто синтоистского происхождения.

Думается, что для Хирата главным препятствием к более активному принятию христианских догматов (разумеется, не говоря об официальном запрете этой религии в Японии) было их внешнее сходство с заповедями буддизма[9]. Если во «Внешних главах» Хирата вслед за Риччи послушно повторяет, что половое влечение является самым низменным из человеческих вожделений (что также совпадает с буддийскими взглядами), то в более поздних сочинениях он в большинстве случаев прославляет сексуальную страсть. Сами боги, говорит он, наделили людей половыми признаками и показали людям пример, как этим пользоваться. Попытка обуздать страсть так же бессмысленна, как попытка остановить морской прилив. Пол — дар богов, который мы должны высоко ценить и воздавать богам за него благодарность [44, III, 79].

Хирата заступался за секс, не только желая лишний раз поддеть буддизм. Не следует также объяснять эти взгляды его чрезмерно темпераментной натурой [88, 43], как, может быть, подумают некоторые. Не надо забывать, что эпос «Кодзики» был для него священным, а в тексте «Кодзики» имеется немало отрывков, которые европейские переводчики предпочитают передавать с помощью туманных и благопристойных латинских терминов... Хирата не мог игнорировать эту сторону «божественных классических книг», и он восхваляет сексуальную жизнь, иногда ради тех радостей, которые она дает сама по себе, но в большинстве случаев потому, что она как бы символизирует момент творения. Идеи плодоро-

[9] В открыто публикуемых трудах Хирата всегда старался очернить религию «Киришитан». Такая позиция говорит, пожалуй, скорее об официальной политике Японии, нежели о личном отношении Хирата к христианской религии, насколько он мог ее знать.

дия и созидания стали центральными в религиозном учении Хирата. Вместо обычных представлений религии синто о целом сонме богов, наделенных приблизительно одинаковым могуществом, Хирата превозносил превыше всех бога-создателя (Мусуби-но ками) в двух его ипостасях [10]. Культ этого божества принимает у него почти форму монотеизма. Мусуби-но ками создал всех остальных богов и людей, так же как и весь материальный мир, считает Хирата.

Из-за скудности подлинно японских источников Хирата для подкрепления этого тезиса был вынужден обратиться к чужеземным учениям. Он ссылается на древнюю китайскую легенду о Шан Ци, который правил миром с небесных высот и создал людей, наделив их различными добродетелями, которыми сам обладал. К несчастью, сожалеет Хирата, современные китайцы — легкомысленный и дерзкий народ. Они относятся к этой легенде иронически, как если бы она была чистейшим вымыслом. Брама в Индии, с точки зрения Хирата, тоже всего лишь искаженный вариант японского Мусуби-но ками. В искажении подлинной истории повинно огромное расстояние, разделяющее Индию и Японию. Тот же бог под другими названиями почитается европейцами и даже темнокожими туземцами Цейлона и Явы. Все другие религии Хирата считает второстепенными, ибо только дивное созидательное могущество Мусуби-но ками породило наравне с Буддой и Конфуцием все существующее. Половое влечение, которым он наделил людей, ни в коем случае нельзя подавлять.

Вопрос о том, в какой степени идея бога-творца сформировалась в воззрениях Хирата под влиянием религиозных концепций Запада, остается открытым. Иногда он упоминает голландского бога, передавая голландское слово «готто» с помощью иероглифов, подобранных по их фонетическому звучанию, и олицетворяет его с «создателем». Известно, что Хирата был знаком с японским пересказом части книги бытия (сотворение, Адам и Ева, Ной, Вавилонская башня), так что нет ничего удивительного, если бы он воспринял идею бога-создателя из той же книги, т. е. из Библии, где эта идея выражена более отчетливо, чем в другой христианской

[10] Это были Такамимусуби и Камумусуби, которых Хирата считал соответственно мужским и женским началом. Впрочем, обычно он писал о них как о едином, неразделимом божестве.

литературе. Такая идея бога годилась для Хирата как нельзя лучше, она совершенно явно не была ни буддийской, ни конфуцианской (буддизму в особенности чужда идея создателя), ее легко было приспособить к нечетким, расплывчатым синтоистским верованиям. Чтобы придать больше величия этому богу-создателю, Хирата несколько умаляет могущество «Божества, правящего центром небес» («Амэ-но минака-нуси-но ками») и даже богини солнца (Аматэ-расу омиками). Если нам трудно с определенностью указать происхождение представлений Хирата о загробном мире, то по крайней мере можно утверждать, что идею бога-создателя он, несомненно, почерпнул на Западе.

Хирата и европейцы

Судя по откровенно восторженным оценкам Хирата западной науки и по его положительному отношению к некоторым догматам христианства, можно предположить, что он относился с большим почтением к голландцам и другим европейцам. Но он, по-видимому, полагал, что преклонение перед иностранцами означало бы принижение национального престижа Японии и умаление несравненных достоинств японцев. Признавая, что голландцы искусны в науках и ремесле, что они находятся на гораздо более высокой ступени развития, нежели «лживые и неопрятные» китайцы, он тем не менее старался всячески дискредитировать их, прибегая подчас к самым грубым и недостойным методам.

«Как известно каждому, кому хоть раз доводилось видеть голландца, они выше других людей, имеют светлые волосы, большие носы и искрящиеся глаза. От природы они веселы и часто смеются. Они редко сердятся — свойство, которое не вяжется с их внешностью и изобличает их слабость. Бороду они бреют, ногти подстригают и намного опрятнее китайцев. Одежда у них исключительно красива и украшена золотом и серебром. Глаза у них точь-в-точь собачьи. Туловище от пояса книзу очень длинное, эта стройность ног тоже придает им сходство с животными. Когда они мочатся, то поднимают одну ногу. Наверное, это объясняется тем, что половой член у голландцев коротко обрезан на конце, как у животных. Кое-кто, может быть, сочтет это забавной шуткой, но это истинная правда и справедливо

не только в отношении голландцев, но и русских. Кодаю, капитан корабля из Сирако в Исэ, побывавший в России несколько лет назад, повествуя о своем путешествии, рассказывал, что у русских, которых он видел в бане, половой член был обрезан, как у собак[11]... Очень может быть, что по этой причине голландцы похотливы, как собаки, и проводят целые ночи, предаваясь эротическим упражнениям... Из-за такой приверженности к половым излишествам и пьянству никто из них не доживает до старости. Для голландца достичь пятидесятилетнего возраста — такая же редкость, как для японца — столетнего. Вместе с тем голландцы — народ, усердно изучающий науки, осуществивший глубокие исследования в самых разнообразных областях. Что касается изделий всякого рода, то они, безусловно, самый искусный народ на свете. Они весьма преуспели в медицине, так же как в астрономии и в географии».

Грубая попытка Хирата изобразить голландцев животными тем более удивительна, если мы вспомним, что еще за двадцать пять лет до него Оцуки Гэнтаку (1757—1827) писал по поводу буквально почти всех абсурдных предположений, высказанных Хирата:

«Ходят слухи, будто голландцы живут недолго. Правда ли это? Не понимаю, откуда возникли такие слухи. Продолжительность человеческой жизни определяется Небом; судя по всему, она примерно одинакова во всех странах... У голландцев, так же как у японцев, продолжительность жизни у разных людей различная. Одни живут до ста лет. Другие умирают всего лишь десяти или двадцати лет от роду.

Говорят еще, будто у голландцев от рождения нет пяток, что глаза у них, как у животных, что они великаны. Правда ли это?

Удивляюсь, откуда возникают такие ложные сведения? Неужели же голландцев оскорбительно называют животными только потому, что форма глаз у них несколько отлична от нашей? Да, по внешности европейцы немного отличаются от нас, азиатов, может быть, из-за разницы в природе материков. Но все органы у них устроены так же, как и у нас, и функции этих органов совершенно такие же. В Нагасаки можно увидеть

---

[11] Данное замечание не встречается в материалах о путешествии Кодаю.

темных людей из Индии (яванские слуги голландцев), у которых глаза совсем иной формы. Китайцы, корейцы, жители островов Рюкю тоже различаются между собой. Даже сами японцы отличаются внешностью друг от друга в зависимости от того, из какой части страны они происходят. Форма глаз может быть несколько отличной, но функция их всегда едина. Если даже японцы отличаются внешностью друг от друга, то разве не естественно, что люди, живущие за двадцать тысяч миль от нас, на другом материке, тоже несколько не похожи на нас?! Хотя все мы — творение одного создателя, вполне закономерно, что между нами существуют некоторые различия в зависимости от края, в котором мы живем. Что касается пяток, то ведь пятки — основание, на котором покоится все наше тело; как же может кто-нибудь обходиться без пяток? Это вопрос, недостойный обсуждения. Что же касается слухов, будто голландцы великаны, то, судя по росту троих голландцев, которых я видел в Эдо, здесь дело обстоит так же, как в вопросе о возрасте, о чем я уже писал,— среди голландцев есть высокие, есть и малорослые... Что же до росказней о том, будто голландцы поднимают одну ногу, как собаки, когда мочатся, или что они чрезвычайно сладострастны, или что они применяют разные возбуждающие эротические средства, то это низкопробная ложь, не заслуживающая того, чтобы принимать ее во внимание» [57, 493—494].

Почему же Хирата прибегал к аргументам, давно уже дискредитированным? Казалось бы, его серьезные знания западных наук должны были удержать его от подобных заявлений. Возможно, он опасался, что отношение ученых «рангаку» к голландцам может стать таким же восторженным, как отношение конфуцианских ученых к китайцам. Ему казалось, наверное, что, только апеллируя к самым низменным предрассудкам японцев, можно предупредить безудержное восхищение, некритическое отношение ко всему западному. Точно так же в сочинении «Выход из созерцания» («Сюцудзё сёго», 1811) он пытался высмеять личность Будды, зачастую с помощью непристойных подробностей, искусственно надерганных из буддийских канонических книг [44, I, 18, 56]. Но если Хирата удавалось отрицать все, связанное с буддизмом, то к западной науке (и втайне, кажется, к западной религии) он вынужден был относить-

ся с почтением и потому рассматривал голландцев как животных, наделенных поразительно развитыми способностями [12]. На эту уступку ему пришлось пойти против воли, и в конце концов он вынужден был поместить голландцев и других европейцев в следующем за японцами ряду в своей иерархии народов земли. Далее следовали китайцы, и в самом конце — индусы и темнокожие индонезийцы. По мнению Хирата, индонезийцы как народ стояли так низко и даже испускали такую вонь, что в их стране гвоздика и другие специи производились для уменьшения зловония.

Хирата считал, что японцы должны изучать западные науки, но при этом всегда помнить, как отвратительны народы, которые дали толчок развитию этих наук. Находились, однако, люди столь неразумные, что говорили на этом «нелепом, грязном и порядком вульгарном» голландском языке, как будто затруднялись объясняться на своем родном, японском языке. Особенный гнев Хирата вызывала привычка врачей, важничающих благодаря знанию голландской медицины (в остальном, впрочем, вполне полезной), называть болезни и лекарства голландскими наименованиями. Он описывает беседу двух врачей, один из которых щеголял голландскими терминами, которые затем вынужден был объяснять собеседнику по-японски. «Очевидно, он считал своего собеседника невеждой, достойным всяческого презрения, между тем как невеждой был именно тот, кто говорил по-голландски». Подражать языку голландцев, по мнению Хирата, было так же бессмысленно, как подражать трескотне обезьян.

Взгляды Хирата могут показаться странными или смешными западному читателю, однако они были вполне серьезными и далеко идущими. И в самом деле, именно этот призыв к сочетанию слепой приверженности ко всему исконно японскому с освоением западных знаний стал доктриной, которая определила отношение Японии к Западу на протяжении большей части XIX века, да и в более поздние времена. Последователи «рангаку» раннего периода благодаря занятиям голландской наукой подошли к убеждениям, близким к идее братства людей, и многие из них обращались к Западу не только ради простого приобретния знаний, но и в стремлении

[12] О сходной позиции конфуцианских ученых см. ранее в гл. 2.

устроить жизнь по-новому. У Хирата же и его последователей объектом и оправданием всякого обращения к голландской науке стали вымышленные претензии японцев на превосходство над всеми прочими смертными. Эти взгляды Хирата сыграли важную роль во время событий реставрации Мэйдзи в 1868 году. Им суждено было также сыграть свою роль в трагических событиях позднейшего времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амэномори Хосю, Таварэгуса,— «Мэйка Дзуйхицу-сю», т. 2, Юходо Бунко (далее — ЮБ), Токио, 1926.
2. Анэсаки Масахару, Киришитан кёси-но Нихон сэнпо,— «Сигаку дзасси» (далее — СД), т. 40, Токио, 1929.
3. Араи Хакусэки, Сайран Игэн.— «Арай Хакусэки дзэнсю», т. 4, Кокусё канкокай сосё (далее — ККС), Токио, 1906.
4. Арисака Такамити, Сиба Кокан тё докусё богэн-ни цуйтэ,— «Historia», 1960, № 10, ноябрь.
5. Аюсава Синтаро, Ямамура Сайскэ, Токио, 1960.
6. Аюсава Синтаро и Окубо Тосиканэ, Сакоку Дзидай нихондзин-но кайгай тисики, Токио, 1953.
7. Ватанабэ Киндзо, Хирата ацутанэ Кэнкю, Токио, 1942.
8. Ватанабэ Кураскэ, Киё Ронко, Нагасаки, 1964.
9. Гото Рисюн, Оранда банаси,— «Буммэй гэнрю сосё», т. I, ККС, Токио, 1913.
10. Имандзуми Гэнкити, Кацурагава-но хитобито, Токио, т. I, 1965; т. 2, 1968.
11. Имамура Итибэй и Намура Гохэй, Оранда мондо,— «Кайхё сосё», т. 2, Киото, 1928.
12. Инобэ Сигэо, Бакумацу-си гайсэцу, Токио, 1930.
13. Инобэ Сигэо, Бакумацу-си-но кэнкю, Токио, 1927.
14. Инобэ Сигэо, Мацудайра Саданобу то Эдзо-ти кайко, СД, т. 45, Токио, 1934.
15. Ирита Сэйдзо, Хирага Гэннай дзэнсю, Токио, 1935.
16. Исии Хакутэй, Нихон-ни Окэру ёфуга-но энкаку, Токио, 1932.
17. Итадзава Такэо, Ни-сан-но мондай,— «Рэкиси Тири» (далее — РТ), т. 59, Токио, 1932.
18. Итадзава Такэо, Рангаку-но хаттацу, Токио, 1933.
19. Итадзава Такэо, Рангаку-но Иги то Рангаку Соси ни кансуру нисан но Мондай,— РТ, т. 59, 1932.
20. Итадзава Такэо, Рангаку то дзюгаку,— Фукусима, Кинсэй, Нихон-но Дзюгаку, Токио, 1939.
21. Итадзава Такэо, Сиборуто, Токио, 1960.
22. Ито Такэо, Хонда Тосиаки-но хака-ни цуйтэ, РТ, т. 11, Токио, 1922.
23. Камэи Такаёси, Дайкокуя Кодаю, Токио, 1964.
24. Кацурагава Хосю, Хокуса бунряку, Токио, 1937.
25. Комияма Фукэн, Фукэн гуки,— «Хякка Дзуйхицу», ККС, Токио, 1917.

26. Кондо Морисигэ, Косе кодзи,— «Кондо Сэйдзай дзэнсю», т. 3, ККС, Токио, 1906.
27. Кондо Морисигэ, Хэнъё бункай дзуко,— «Кондо Сэйдзай дзэнсю», т. I, ККС, Токио, 1905.
28. Коно Цунэёси, Ака эдзо Фусэцу-ко но Теся Кудо Хэйскэ,— СД, т. 26, Токио, 1915.
29. Коно Цунэёси, Анэй Идзэн Мацумаэ-хан то Родзин то но Канкэй,— СД, т. 27, Токио, 1916.
30. Кудо Хэйскэ, Ака Эдзо Фусэцу ко,— Отомо, Кисаку Хокумон Сосё, т. I, Токио, 1943.
31. Кумадзава Бандзан, Дайгаку вакумон,— «Transactions of the Asiatic Society of Japan» (далее — TASJ), 2d Series, t. 16, 1938.
32. Курэ Сюдзо, Сиборуто сэнсэй, серия «Тоё бунко», Токио, 1967.
33. Мацудайра Саданобу, Угэ-но Хитогото, серия «Иванами бунко» (далее — ИБ), Токио, 1942.
34. Мацукадзэ Ёсисада, Дзэния гохэй. синдэн, Киото, 1930.
35. Мацумура Акира, Ранто котохадизмэ,— «Нихон котэн бунгаку тайкэй», Токио, 1964.
36. Маэно Рётаку, Сэйё гасан якубун-ко,— «Кайхё сосё», Киото, 1928.
37. Минакава Синсаку, Могами Токунай, Токио, 1943.
38. Миура Байэн, Кисан-року,— «Байэн дзэнсю», т. I, Токио, 1912.
39. Могами Токунай, Эдзо соси,— Отомо Кисаку, Хокумон Сосё, т. I, Токио, 1943.
40. Морисима Тюрё, Комо дзацува,— «Буммэй Гэнрю Сосё», т. I, ККС, Токио, 1913.
41. Мураока Цунэцугу, Дзоку Нихон сисо-си кэнкю, Токио, 1939.
42. Мураока Цунэцугу, Нихон сисо-си кэнкю, Токио, 1940.
43. Мураока Цунэцугу, Сисэй-но тэцудзин сиба кокан,— см. Сиба, Тэнти Ридан.
44. Муромацу Ивао, изд. Хирата ацутанэ дзэнсю, т. 1—15, Токио, 1911—1918.
45. Накамура, Киёдзо, Эдо бакуфу-но кинсё сэйсаку, т. 11, Киото, 1926.
46. Нисимура Тэй, Нихон сёки ёга-но кэнкю, Киото, 1945.
47. Номура Канэтаро, Токугава дзидай-но кэйдзай сисо, Токио, 1939.
48. Номура Канэтаро, Токугава дзидай-но сякай кэйдзай сисо гайрон, Токио, 1934.
49. Нумата Дзиро, Ёгаку дэнрай-но рэкиси, Токио, 1960.
50. Огава Тэйдзо, Кайтай синсё, Токио, 1968.
51. Окамура Тибики, Комо бунка сива, Токио, 1953.
52. Онисн Ивао, Сиба Кокан-но сэкай-кан,— «Кокумин-нс томо», Токио, 1894, № 233.
53. Оно Тадасигэ, Эдо-но ёгака, Токио, 1968.
54. Ота Нампо, Оранда Энги-ки,— «Кайхё-сосё», т. I, Киото, 1928.
55. Отани Рёкити, Гадатака ино, Токио, 1932.
56. Отомо Кисаку, Хокумон Сосё, т. 1—6, Токио, 1943.
57. Оцуки Гэнтаку, Рангаку кайтэй,— «Буммэй Гэнрю Сосё», т. 1, ККС, Токио, 1913.

58. Оцуки Нёдэн, Ёгаку нэмпе, Токио, 1927.
59. Сато Гэнрокуро, Эдзо сюи,— Отомо, Кисаку, Хокумон Сосё, т. 1, Токио, 1943
60. Саэгуса Хиротo, Нихон кагаку котэн дзэнсё, т. 1—6, Токио, 1942—1948.
61. Сиба Кокан, Кокан сайю никки,— «Нихон котэн дзэнсю», Токио, 1927.
62. Сиба Кокан, Оранда тэнсэцу, Эдо, 1796.
63. Сиба Кокан, Оранда цухаку,— «Дзуйхицу бунгаку сэнсю», т. 6, Токио, 1927.
64. Сиба Кокан, Сэйё гадан,— «Дзуйхицу бунгаку сэнсю», т. 2, Токио, 1927.
65. Сиба Кокан, Сюмпаро хикки,— «Мэйка дзуйхицу-сю», т. 2, 1926.
66. Сиба Кокан, Тэнти ридан, Токио, 1930.
67. Симмура Идзуру, Дзоку намбан коки, Токио, 1925.
68. Симмура Идзуру, Сидэн соко, Токио, 1934.
69. Симмура Идзуру, Симмура Идзуру сэнсю, т. 1—4, Киото, 1943.
70. Сугита Гэмпаку, Рангаку котохадзимэ, ИБ, Токио, 1939.
71. Татихара Дзингоро (Суйкэн), Нарабаяси дзацува,— «Кайхё Сосё», т. II, Киото, 1928.
72. Тиба Сэнъити, Эдо дзидай-ни окэру сэиёси-но дзюё дзёкё.— «Кокуго кокубун кэнкю», 1966, № 34, июнь.
73. «Токио Кагаку Хакубуцукан. Эдо дзидай-но кагаку», Токио, 1938.
74. «Токугава дзикки», Токио, 1934.
75. «Токугава Кинрэй-ко», Токио, 1932.
76. Цудзи Дзэнноскэ, Танума дзидай, Токио, 1915.
77. Харима Нараёси, Рококу-ни окэру нихонго гакко-но энкару,— СД, т. 33, Токио, 1922.
78. Харима Нараёси, «Рококу сайсё-но кэннити сисэцу адаму раку-суман нисси».— СД, т. 34, Токио, 1923.
79. Хаяси Сихэй, Дзёсё,— «Сэндай Сосё», т. 2, Сэндай, 1923.
80. Хаяси Сихэй, Кайкоку хэйдан,— ИБ, Токио, 1939.
81. Хаяси Фукусай, Цуко Итиран,— ККС, Токио, 1913.
82. Хаяси Цуруити, Васан кэнкю сюроку, Токио., 1937.
83. Хирадзава Кёкудзан, Кэйхо гухицу,— «Кайхё Сосё», т. 6, Киото, 1928.
84. «Хоккайдо-си», Токио, 1937.
85. Хондзё Эйдзиро, Хонда Тосиаки-сю,— «Кинсэй Сякай Кэйдзай Гакусэцу тайкэй», Токио, 1935.
86. Хондзё Эйдзиро, Кинсэй-но кэйдзай сисо (Дзокухэн), Токио, 1937.
87. Хора Томио, Мамия Риндзо, Токио, 1960.
88. Ямада Иосио, Сэйё Дзакки, Эдо, 1848.
89. Ямамура Сайскэ, Хирата Ацутанэ, Токио, 1943.
90. Хун Лян-цзи, Хун Бэйцзян шивэнь цзи, Шанхай, 1934.
91. Чэнь Чан-хэн, Чжунго жэнькоу лунь, Шанхай, 1932.
92. Barthold V. V., La Dècouverte de l'Asie, Paris, 1947.
93. Bellah R. N., Tokugawa Religion, Glencoe, Illinois, 1957.
94. Benyowsky M. A. (von), Memoires and Travels, London, 1790.
95. Blacker C., Supernatural Abduction in Japanese Folklore,— «Asian Folklore Studies», XXVI, 2, 1967.

96. Bodde D., Henry A. Wallace and the Ever-Normal Granary,— «Far Eastern Quarterly».
97. Borton H., Peasant Uprisings in Japan of the Tokugawa Period»,— «Transactions of the Asiatic Society of Japan» (далее — TASJ), 2d Series, t. 16, 1938.
98. Boxer C. R., Jan Compagnie in Japan 1600—1817, Hague, 1936.
99. Boxer C. R., The Mandarin at Chinsuru, Amsterdam, 1949.
100. Boxer C. R., Rin Shihei and His Picture of a Dutch East-India ship,— TASJ, 2d Series, t. 9, 1932.
101. Broughton W. R., A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean, London, 1804.
102. Ch'en Fu-Kuang, Sino-Russian Diplomatic Relations since 1889,— «Chinese Soc. and Pol. Sc. Rev», vol. 10, Paking, 1926.
103. Claudel P., L'impôt sur le Thé en Angleterre,— «Annales de l'École Libre des sciences Politiques» (далее — AEL), t. 4, Paris, 1889.
104. Doeff H., Herrinneringen uit Japan, Haarlem, 1833.
105. Droppers G., The Population in Japan in the Tokugawa Period,— TASJ, t. 22, 1894.
106. Du Perron E., De Muze van Jan Compagnie, Bandoeng, 1948.
107. Feenstra Cuiper J., Japan en de Buitenwereld in de Achttien de Eeuw, Gravenhage, 1921.
108. Feenstra Cuiper J., Some Notes on the Foreign Relations of Japan,—TASJ, 2d Series, t. 1, 1924.
109. Golder F. A., Russian Expansion on the Pacific. 1641—1850, Cleveland, 1914.
110. Golovnin W. M., Narrative of my Captivity in Japan, London, 1818.
111. Golovnin W. M., Recollections of Japan, London, 1819.
112. Goodman G. K., The Dutch Impact on Japan, Leyden, 1967.
113. Hall J. W., Tanuma Okitsugu, Cambridge, Mass., 1955.
114. Haren O. Z. (van), Van Japan, Zwolle, 1775.
115. Harrison J. A., Japan's Northern Frontier, Gainesville, Florida, 1953.
116. «History of the Interhal Affairs of the United Provinces», London, 1787.
117. Johnson E. A. J., Predecessors of Adam Smith, London, 1937.
118. Kaempfer E., The History of Japan, Glasgow, 1960.
119. Keene D., Hirata Atsutane and Western Learning,— «T'oung Pao», t. 42, Leiden, 1954.
120. Keene D., The Japanese Discovery of Europe, London, 1952.
121. Klaproth J., «Сань го Чжоу лань ту се цзы», Paris, 1832.
122. Krasheninnikov S. P., The History of Kamschatka and the Kurilski Islands, Glocester, 1764.
123. Kropf L. K., Benyowsky,— «Notes and Queris», for 27 April 1895, London, 1895.
124. Krusenstern A. I., Voyage Round the World, London, 1813.
125. Lagus W., Erik Laxman, Helsingfors, 1880.
126. Langsdorff G. H. (von), Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, Frankfort, 1812.
127. Lefevre-Pontalis G., Un Projet de Conquête du Japon par l'Angleterre et la Russie en 1776,— AEL, t. 4, Paris, 1889.

128. Lensen G. A., Early Russo-Japanese Relations,— «Far Eastern quarterly», t. 10, № 1, Ithaka, 1950.
129. Lensen G. A., The Russian Push Toward Japan, Princeton, 1959.
130. Lesseps J. J. R. de, Travels in Kamchatka, London, 1790.
131. Lung C. F., A Note on Hung Liang-chi, the Chinese Malthus,— «T'ien Asia Monthly», t. I, № 3, Shanghai, 1935.
132. Malthus T. R., An Essay on the Principle of Population, L., 1826.
133. Malthus T. R., First Essay on Population, 1798, London, 1926.
134. Mikami Yoshio, On Shizuki's Translation,— «Niew Archief voor Wiskunde» (далее — NAW), 2d Series, t. II, Amsterdam, 1915.
135. Murdoch J., A History of Japan, London, 1925—1926.
136. Norman E. H., Ando Shoeki and the Anatomy of Japanese Feudalism,— TASJ, 3d Series, t. 2, 1949.
137. Norman E. H., Japan's Emergence as a Modern State, New York, 1940.
138. Overmeer Fisscher J. F. (van), Bijdrage tot de Kennis van het Japansche Rijk, Amsterdam, 1833.
139. Pelliot P., Le Hôja et le Sayyid Husain de l'Histoire des Ming,— «T'oung Pao», t. 38, Leiden, 1948.
140. Playfair W., Inquiry into the Permanent Causes of the Decline and Fall of Powerful and Wealthy Nations, London, 1805.
141. Ramming M., Russland-Berichte schiffbrüchiger Japaner, Berlin, 1930.
142. Sakanishi Shio, Prohibition of Import of Certain Chinese Books,— «Journal of the American Oriental Society» (далее — JAOS), t. 57, New Haven, 1937.
143. Sansom G. B., The Western World and Japan, London, 1950.
144. Sauer M., An Account of a Geographical and Astronomical Expedition, London, 1802.
145. Semyonov Y., The Conquest of Siberia, London, 1944.
146. Sheldon Ch. D., The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan, Locust Valley, New York, 1958.
147. Siebold P. F. (von), Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan, Wurzburg, 1897.
148. Siebold P. F. (von), Reise van Maarten Gerritz, Amsterdam, 1858.
149. Smith D. E. and Y. Mikami, A History of Japanese Mathematics, Chicago, 1914.
150. Strahlenberg P. J. (von), An Historico-Geographical Description of the North and Eastern Parts of Europe and Asia, London, 1738.
151. Szczesniak B., The Penetration of Copernical Theory Into Feudal Japan,— «Journal of the Royal Asiatic Society», 1944.
152. Thunberg C. P., Travels, London, 1795.
153. Tsukahira T. G., Feudal Control in Tokugawa Japan: the Sankin Kotai System, Cambridge, 1966.
154. Vixseboxse J., Een Hollandsch Gezantschap naar China in de Zeventiende Eeuw (1685—1687), Leiden, 1946.
155. Vondel J. van der, Werken, Amsterdam, 1929—1937.
156. Waley A., Shiba Kokan,— «The Secret History of the Mongols», London, 1963.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга современного американского исследователя Дональда Кина «Японцы открывают Европу (1720—1830)» посвящена не истории взаимоотношений Японии с европейскими странами и не истории развития японской культуры в XVIII — начале XIX в. Ее цель иная. Д. Кин в живой, популярной форме, на основе многочисленной, преимущественно японской, китайской, западноевропейской и американской, литературы попытался проследить основные этапы первоначального восприятия в Японии западноевропейской культуры и его результаты задолго до активного включения этой высокоиндустриальной и культурной в наше время страны в активную международную жизнь. Такой малоизученный аспект, приданный Д. Кином своей книге, вполне оправдан. Действительно, при всем своеобразии исторического прошлого Японии, исключавшем, казалось бы, возможности ее экономического и культурного общения с другими, более быстро развивавшимися странами, объективные потребности развития общества породили внутри самой Японии движение, идеологическое влияние которого, как бы оно ни было первоначально слабо, нетрудно заметить в ходе дальнейшего быстрого развития страны, последовавшего во второй половине XIX в., после реставрации Мэйдзи и уничтожения сёгуната. Уделив основное внимание всего лишь нескольким представителям японской культурной жизни XVIII — начала XIX в., отражавшим движение «рангаку» («голландская наука»), Д. Кин имел основания предпослать своей книге слова: «Когда читаешь труды этих людей или знакомишься с историей их жизни, внезапный выход Японии из обскурантизма прошлого на мировую арену становится гораздо менее загадочным» (см. стр. 3).

В XVI в., в эпоху великих географических открытий, европейцы, сначала португальцы (1542), затем испанцы (1584) и голландцы, проникли в Японию, где в то время складывалось единое феодальное государство. Европейцы были не в состоянии осуществить колониальные захваты в Японии, подобные тем, которых добились

португальцы в Индии, а голландцы в Индонезии. Установившиеся контакты с европейцами имели для Японии другие последствия, объективно игравшие революционизирующую роль в тот период ее истории. Торговля с европейцами, с одной стороны, способствовала развитию старых японских торговых центров и появлению новых приморских городов (Хирадо и Нагасаки), а с другой стороны, усиливала стремление японских купцов развивать свои собственные внешние торговые связи, в частности с Филиппинами и Индокитаем. Укрепляя таким образом свои экономические позиции, японское купечество стало добиваться устранения феодальных перегородок внутри страны. В свою очередь часть японских феодалов, прежде всего южные князья, надеялись, опираясь на португальцев и испанцев, расширить свою морскую торговлю и получить преобладание над своими феодальными противниками внутри Японии. В конце XVI в. японские феодальные круги даже сами попытались стать на путь колониальных захватов в Корее, Китае, на о-ве Тайвань и Филиппинах. Однако японские феодалы натолкнулись на сопротивление мощной минской империи в Китае. Военная авантюра японского диктатора Тоётоми Хидэёси в Корее и Китае потерпела в самом конце XVI в. полное крушение. В то же время христианство, проникшее в Японию с помощью миссионеров-иезуитов еще в середине XVI в., получило распространение среди разных слоев населения страны, и прежде всего среди жестоко эксплуатируемого феодалами крестьянства. По существу, оно стало идеологической оболочкой крестьянских движений. Потерпев поражение в своей активной внешней политике, японская феодальная верхушка под угрозой непрекращавшихся крестьянских восстаний решила в 1633 г. ликвидировать влияние европейцев в самой Японии и максимально оградить себя от внешнего мира. В 1637 г. на о-ве Кюсю, в районах наибольшего распространения католицизма, произошло мощное крестьянское восстание (Симабарское), поддержанное мелкими вассалами лишенных к этому времени власти местных князей и частью буржуазии, обогащавшейся на внешней морской торговле. Большинство восставших были христианами (католиками). Восстание было беспощадно подавлено, после чего в 1639 г. последовал указ об изгнании португальцев и испанцев и провозглашении самоизоляции Японии; двумя годами раньше самим японцам было запрещено покидать родные берега. Голландцы (протестанты по вероисповеданию), смертельные враги католиков испанцев и португальцев и их конкуренты на мировых торговых путях, содействовали подавлению восстания и сохранили в крайне урезанном виде право морской торговли с Японией.

Так политика военно-феодального правительства сёгунов из дома Токугава более чем на 200 лет замкнула Японию от внешнего

мира, пагубные последствия чего во всех областях жизни государства, в том числе и в культуре, стали вполне очевидны уже в XVIII в. Именно с этого времени начинается повествование в книге Д. Кина.

Нельзя, конечно, сказать, что на протяжении XVII — первой половины XIX в. культура и просвещение в Японии не развивались. Японские ученые достигли известных, правда весьма ограниченных, успехов в математике, астрономии, ботанике, агрономии, языкознании, но в целом до второй половины XIX в. наука в Японии не отражала каких-либо систематизированных знаний.

Д. Кин в очень живой форме популярно охарактеризовал застойное состояние общественных классов — паразитирующее и деградирующее самурайство, нищее крестьянство, разорявшихся ремесленников и купцов с их спекуляциями и ростовщичеством — и систему управления в феодальной Японии XVIII в., при котором невозможен был социально-экономический прогресс общества (гл. 5). На этом фоне особенно ярко выглядит нарисованная Д. Кином картина убогости японской науки. Только в 1720 г. сёгун допустил некоторое послабление во внешних связях и разрешил ввоз ранее запрещенных книг, кроме излагающих христианские доктрины. Д. Кину удалось показать, с одной стороны, насколько трудно и мучительно было для японских ученых ознакомление с успехами более передовой научной мысли, а с другой стороны, этапы этого восприятия и его результаты. В самой Японии не было переводчиков, знающих европейские языки, а число переведенных в Китае западноевропейских книг было крайне ограниченно. Голландская фактория на о-ве Дэсима, обитатели которой думали только о прибыли и не гнушались любыми возможными средствами ее получения, была долгое время основным источником получения научной информации. В результате прогресс научной мысли в Японии шел крайне медленно. Десятки лет понадобились для освоения голландского языка, и только в 1774 г. в Японии появился впервые в открытой печати перевод труда по анатомии немецкого ученого И. А. Кульмиуса, оказавшего затем значительное влияние на японскую медицину. Как показывает Д. Кин, в этот период при всей хаотичности воспринимаемых знаний и усвоении их внешних форм среди японцев преобладала их утилитарная оценка. Тем не менее сам факт обращения к этим знаниям имел идеологические последствия; изучение науки европейских стран во второй половине XVIII в. оформилось в Японии в виде определенного движения («рангаку»), вступившего в борьбу с господствовавшей идеологией конфуцианства и добившегося успехов в развитии просвещения и изменении некоторых традиционно устоявшихся взглядов. Как показывает книга Д. Кина, для сторонников «рангаку»

было характерно стремление к энциклопедичности знаний, в чем нельзя не признать свидетельства о начальном этапе формирования науки, как таковой. Д. Кин довольно подробно характеризует интересы целого ряда участников «рангаку» — Оцуки Гэнтаку, занимавшегося языкознанием и медициной; Сиба Кокан — художника, философа, лингвиста, специалиста в области точных наук; Хонда Тосиаки, обладавшего разносторонними познаниями, и др.

Нельзя согласиться с Д. Кином в том, что движение «рангаку», возможно, «так и не вышло бы за пределы чисто академических упражнений, если бы не внешняя угроза, нависшая над мирной жизнью изолированной от мира Японии» (см. начало гл. III). В движении «рангаку» участвовали представители разных политических устремлений; их объединяли критика политики самоизоляции страны и понимание отсталости Японии от более передовых европейских стран. Как отмечает Д. Кин, признание благотворности европейских знаний одновременно сочеталось у их сторонников с боязнью западноевропейских государств. Дело, конечно, заключалось не в «призыве Запада» (как озаглавил Д. Кин одну из глав книги), а именно в осознании наиболее передовыми людьми в Японии своей отсталости. Исходя из контекста книги Д. Кина, можно даже подумать, что угроза внешней опасности в Японии ассоциировалась прежде всего с Россией, после того как во второй половине XVIII в. стало известно о ее могуществе. Д. Кин пишет, что известия о России послужили непосредственным толчком для подобного рода опасений.

Конечно, судить о причинах появления в движении «рангаку» широких политических планов можно только на основе более глубокого анализа внутреннего положения Японии, а не сугубо частных побудительных обстоятельств. Внешней угрозы, тем более со стороны России, во второй половине XVIII в. для Японии не существовало, а между тем тезис о военной слабости Японии у японских теоретиков тут же стал перерастать в проблему территориальных захватов. Вскоре же после появления в 1791 г. «Военных бесед для морской страны» Хаяси Сихэй, где доказывалась необходимость для Японии сильного военно-морского флота и перевоспитания самурайства, появились еще более широкие проекты, в которых усиление военной мощи Японии обусловливалось предварительным проведением ряда реформ. Таким сторонником реформирования японского позднефеодального общества в конце XVIII в. выступил Хонда Тосиаки, которого Д. Кин поставил в центре своей книги. Примечательность этой фигуры заключается не только в представленных ею проектах. Сам факт ее появления свидетельствовал об успехах движения «рангаку» в усвоении западноевропейского опыта и знаний и о попытках их претворения уже в

сфере государственных преобразований. Поэтому появление Хонда Тосиаки с его проектами тем более заслуживает внимания. Посвященную ему главу книги Д. Кин озаглавил «Экономические теории Хонда Тосиаки», хотя рассматривать его проекты только с точки зрения их экономического содержания, конечно, далеко не точно. На самом деле Хонда, ратуя за ликвидацию самоизоляции, предлагал осуществить целую систему мероприятий, в равной степени касавшихся внутренней и внешней политики страны. Отнюдь не восставая против существа господствовавшего общественного строя Японии, Хонда был озабочен застоем в хозяйственной жизни страны, состоянием производящей части населения (крестьянства) и ростом непроизводящей его части (самурайства и ростовщического купечества). Для стимулирования естественного роста крестьянства Хонда предложил выдавать государственные пособия на каждого ребенка в семье вплоть до его совершеннолетия и осуществить ряд мер по приведению в культурное состояние заброшенных земель и улучшению транспортных путей внутри страны для быстрого снабжения населения отдельных районов в случае возникновения там голода. По мысли Хонда, возможное в будущем перенаселение Японских островов было решающим доводом для начала активного захвата прилегающих к Японии территорий. Выдвинув экспансионистскую политику в качестве основной посылки при разрешении внутренних проблем государства и ссылаясь на пример колониальных европейских стран — Англии и Голландии, Хонда доказывал необходимость для Японии вести мировую морскую торговлю для экспорта готовых изделий, а не сырья, и всемерно эксплуатировать природные богатства вновь присоединенных территорий под строгим контролем центральной государственной власти. Любопытно, что, как бы самостоятелен ни был Хонда в построении экономической части своих проектов, их подосновой была политика меркантилизма, которая, как верно отметил Д. Кин, для передовых стран Европы, переживавших уже эпоху промышленного переворота, была «старой сказкой». Тем не менее фантастически обоснованная Хонда угроза внутреннего перенаселения, тезис о колонизации соседних территорий как основной задачи правительства и проект создания Японской империи, включающей Курильские и Алеутские острова, Северную Америку и Камчатку, с перенесением столицы этой империи на Камчатку дают все основания считать Хонда Тосиаки предтечей трубадуров японского милитаризма. Д. Кин указывает, что труды Хонда Тосиаки были признаны официальными кругами Японии только в 1924 г. Однако, если вспомнить направленность внешней политики Японии после окончания первой мировой войны, эта дата не может показаться случайной.

В проектах колонизации захваченных территорий Хонда особо останавливался на политике в отношении местного населения. В ее основе была заложена идея об «отцах-правителях», обучающих «туземцев», отвращающих их от праздности, снабжающих всем необходимым и тем добивающихся признательности и послушания. «Смелые планы эксплуатации туземцев, предложенные Хонда, посрамили бы любого его европейского современника»,— не без иронии отмечает Д. Кин.

Еще при жизни Хонда Тосиаки идеологическое обоснование его далеко идущих планов получило своеобразное развитие со стороны Хирата Ацутанэ (1776—1843), которому Д. Кин не без основания посвятил последнюю главу своей книги. Д. Кин как бы противопоставляет бесспорному стороннику западных знаний Хонда Тосиаки с его утилитарным, четко позитивным подходом при оценке религиозных верований, огульным отрицанием традиционных для Японии верований и осторожными размышлениями о практической ценности христианства — Хирата Ацутанэ, приверженца национальной религии синто. Правда, на самом деле такое противопоставление было чисто внешним. Хирата также разделял взгляды о ценности европейских знаний и утверждал необходимость их усвоения. Разница в данном случае состояла в том, что Хирата признавал эти знания лишь в определенных пределах, поскольку они не противоречили доктринам синто и даже их подтверждали. Он даже пытался объявить постулаты христианства и других иноземных религиозных верований производными от синтоистских истин. На основе подобных теологических исследований о главенстве и превосходстве религии синто и путем соответствующего «использования» сведений о других народах, их облике, образе и условиях жизни Хирата Ацутанэ в начале XIX в. «обосновал» целую теорию об исключительности японского народа и совершенстве Японии. Этот безудержный национализм как нельзя лучше мог подойти всем тем, кто был заинтересован в осуществлении экспансионистских планов Хонда Тосиаки, и прежде всего японским милитаристам.

Дональд Кин, завершая свою книгу, подчеркнул, что стремления последователей «рангаку» раннего периода были подменены Хирата и его последователями иными, далеко идущими целями, на основе которых развились вымышленные претензии японских идеологов на превосходство японцев над всеми другими народами, сыгравшие свою роль в трагических событиях позднейшего времени.

Много места уделил Д. Кин в рамках своего повествования об этапах движения «рангаку», его роли в изучении территорий, находящихся севернее Японии, прежде всего Сахалина и Курильских

островов, и в связи с этим проблеме взаимоотношений между Россией и Японией в XVIII — начале XIX в. Д. Кин не использовал довольно многочисленной советской научной литературы, особенно появившейся в 50—60-х годах. Поэтому его книга требует известных дополнений. Первая посвященная России глава книги — «Удивительные рассказы о Московии» — свидетельствует о том, что в результате отчужденности от внешнего мира в Японии в XVIII в. очень мало знали не только о России в целом, но и о тихоокеанских островах, расположенных к северу от Японии. В этом безусловная познавательная ценность этой главы. Учитывая это обстоятельство, можно думать, что «прославившийся» затем в Западной Европе авантюрист М. Бениовский, не имевший, разумеется, ни малейшего отношения к русской администрации, мог произвести впечатление в 1771 г. своими письмами в Японию, особенно если учесть в этом роль голландских торговых представителей. Впрочем, если в Японии и обратили то или иное внимание на его «предостережение» в отношении России, то это лишь подтверждает полное отсутствие у японцев сведений о не так уж далеко расположенных владениях их северного соседа. Это незнание было явлением сугубо односторонним. Если японцам было запрещено в 1637 г. покидать родные берега, то русские именно в этот момент в процессе присоединения Восточной Сибири к России вышли на берега Охотского моря. На протяжении XVII и XVIII вв. русское мореплавание на Тихом океане приобрело широкий размах и привело к открытиям, обогатившим мировую географическую науку. Еще в 1643—1645 гг., во время похода на Амур, В. Поярков и его спутники впервые собрали подробные сведения о Сахалине и его обитателях — айнах; в 1652 г. были получены русскими казаками известия о существовании на южной части о-ва Хоккайдо народа «чижем» — японцев. Есть все основания считать, что в 1655—1656 гг. жители западного побережья Сахалина стали выплачивать ясак, т. е. вошли в состав подданных России, с чем согласны также некоторые японские историки[1]. В результате походов русских казаков были получены данные о существовании Татарского пролива и о Сахалине как острове, которые были отмечены сначала на русских «чертежах» (картах) XVII в., а затем стали известны в западноевропейских странах. В 1691 г. в Амстердаме Н. Витзен впервые напечатал карту с изображением о-ва Сахалин[2]. Значительно позже пришли к убеждению об островном положении Сахалина маньчжурские исследователи, работавшие по заданию богдыханского правительства над составлением большой многолист-

[1] Б. П. Полевой, Первооткрыватели Сахалина, Южно-Сахалинск, 1959, стр. 23—24, 58—65.

[2] Там же, стр. 43—52.

ной карты Китайской империи и сопредельных стран[3]. В Японии же вплоть до начала XIX в. господствовало убеждение о полуостровном положении Карафуто (Сахалина), так как ни одному японцу до того времени не удалось побывать в Татарском проливе[4].

В 1697 г. в результате похода В. Атласова к России была присоединена Камчатка, а затем с начала XVIII в. началось планомерное обследование Шантарских и Курильских островов, первые сведения о которых были получены русскими еще в середине XVII в.

В процессе хозяйственного освоения Сибири особо важное значение для России приобретал вопрос о существовании пролива между Азиатским и Американским континентами и о возможности морского пути через Северный Ледовитый океан в Тихий. Эта проблема была одной из первоочередных, волновавших западноевропейских ученых и мореплавателей. В связи с открытиями в северо-западной части Тихого океана особое внимание в России при Петре I уделялось открытию морского пути в Японию мимо Курильских островов, установлению с ней торговых отношений и поискам путей в Индию. В результате нескольких экспедиций (1711, 1713, 1719—1721 гг.) русские исследователи — И. П. Козыревский, Д. Я. Анциферов, И. М. Евреинов, Ф. Ф. Лужин и др.— описали и картографировали бóльшую часть Курильских островов. Особую ценность представляют составленные И. П. Козыревским в 1726 г. «Чертеж (карта) Камчадальского Носу и морским островам» и первое обстоятельное описание населявших Курилы айнов, в котором содержались также интересные сведения о Японии[5]. В результате этих исследований Курильские острова вошли в состав России. О северной части Тихого океана западноевропейские ученые имели в то время представления, основывавшиеся на смутных данных голландского мореплавателя М. Фриза, побывавшего в 1643 г. только у южных берегов Сахалина.

На основе богатого опыта первой Камчатской (иначе Сибирско-тихоокеанской) экспедиции, в ходе которой обследовалась северо-западная часть Тихого океана и русские мореплаватели высадились на Американском континенте (1732 г.), были разработаны задачи второй подобной же экспедиции; одной из основных ее целей было установление морского пути в Японию и достижение с

---

[3] Там же, стр. 71, 72.

[4] Б. П. Полевой, К истории открытия Татарского пролива — «Страны и народы Востока», вып. 6, М., 1967, стр. 76.

[5] Э. Я. Файнберг, Русско-японские отношения в 1697—1875 гг., М., 1960, стр. 21—25; В. А. Дивин, Русские мореплавания в Тихом океане в XVIII в., М., 1971, стр. 23—38.

ней торговых отношений. Активные исследования, осуществленные в 20—30-х годах XVIII в. русскими мореплавателями на Тихом океане, были органически связаны с экономическим развитием дальневосточных владений России.

Руководство отрядом указанной экспедиции, которому поручалось обследование Курильских островов и пути в Японию, было вручено капитану М. Шпанбергу. Летом 1738 г. два русских корабля посетили Курильские острова и почти все их нанесли на карту. На следующий год, в июне 1739 г., М. Шпанберг со своими тремя кораблями впервые подошел к северо-восточному побережью о-ва Хонсю, а затем посетил восточное побережье о-ва Эдзо. Тогда же к восточному берегу Хонсю подошел ранее отставший четвертый корабль экспедиции под командой В. Вальтона. В своих рапортах и журналах М. Шпанберг и В. Вальтон подробно описали свои дружественные встречи с мирным японским населением, его занятия. Однако русская экспедиция не смогла выяснить возможность установления торговых отношений с Японией. Командиры русских кораблей вскоре покинули Японию. Плавание М. Шпанберга и В. Вальтона было высоко оценено в Петербурге, получило отклик в Западной Европе и было зафиксировано в японских хрониках. Однако японское правительство вскоре же после посещения Японии русскими кораблями подтвердило свое неуклонное стремление к изоляции и издало инструкцию об охране побережья и насильственном удалении иностранных кораблей, зашедших в японские гавани (13 июля 1739 г.) [6]. Вместе с тем из книги Д. Кина не видно, чтобы первое посещение русских кораблей вызвало в Японии опасения об агрессии.

Через три года после этого плавания, в 1742 г., М. Шпанберг продолжил исследование Курильской гряды, а один корабль его флотилии под командой А. Шельтинга вошел в пролив, отделявший Сахалин от Японии. Много позже, в конце XVIII в., там плавал французский мореплаватель Лаперуз, и в его честь за этим проливом утвердилось его имя.

Честь открытия и изучения Сахалина и Курильских островов, бесспорно, принадлежит русским исследователям. На протяжении столетия, с середины XVII до середины XVIII в., они, несмотря на огромные трудности по постройке и оснастке кораблей и обеспечению морских плаваний, систематически осуществляли исследования Охотского моря и северо-западной части Тихого океана, которые обеспечили дальнейшие успехи по изучению побережья Америки (вторая половина XVIII в.) и путей в Японию. В 1786 г.

[6] Э. Я. Файнберг, Русско-японские отношения в 1697—1875 гг., стр. 26—32; В. А. Дивин, Русские мореплавания в Тихом океане в XVIII в., стр. 120—133, 138—141.

в Петербурге возник проект первой русской кругосветной экспедиции, корабли которой должны были посетить в Тихом океане Австралию, Китай, Японию, Курильские острова, Сахалин, американские берега, и в частности Аляску, с самыми широкими и разнообразными целями — торговыми, научными и т. п. К осени 1787 г. эта экспедиция была полностью подготовлена и под командованием капитана Г. И. Муловского готова была выйти в плавание. Однако из-за начавшихся войн с Турцией, а затем Швецией экспедиция была отложена и осуществлена И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским только в 1803—1806 гг.[7].

После плаваний В. Беринга и М. Шпанберга русские промышленники приложили много усилий для изучения островов в северо-западной части Тихого океана и организации там промыслов. С 1743 по 1764 г. было проведено 42 экспедиции на Алеутские острова и Аляску[8]. В не менее широких масштабах тогда же шло освоение Курильских островов, где уже в середине XVIII в. стало ощущаться влияние русской культуры. С 1749 г. на о-ве Шумшу существовала школа по обучению детей местных айнов русской грамоте. Во второй половине XVIII в. русские селения имелись на о-вах Шумшу, Парамушире, Симушире, Урупе и Итурупе, где проводились успешные опыты по внедрению сельского хозяйства. Весьма показательна гибкая политика русского правительства по отношению к коренным жителям. Так, в частности, в инструкции, переданной в 1775 г. руководителю экспедиции на Курильские острова И. Антипину, предписывалось под страхом смертной казни не обижать местное население. В 1779 г. айны Курильских островов были полностью освобождены от уплаты ясака. К концу 1770-х — началу 1780-х гг. о Курильских островах был собран значительный материал географического, экономического и этнографического характера, который был обобщен в обстоятельном обзоре Татариновым[9]. Все эти исследования значительно уточнили и картографические представления, что отразилось на «генеральных» картах России 1776 и 1786 гг.

На протяжении XVIII в. Россия стремилась избежать каких бы то ни было дипломатических осложнений с Китаем. Поэтому русские морские экспедиции значительно реже появлялись у берегов Приамурья и лежащего в непосредственной близости от них Сахалина. Тем не менее имеются данные о таких экспедициях конца

---

[7] В. А. Дивин, Русские мореплавания в Тихом океане в XVIII в., стр. 287—293.

[8] Там же, стр. 200.

[9] Э. Я. Файнберг, Русско-японские отношения в 1697—1875 гг., стр. 34—40; Д. М. Лебедев, Очерки по истории географии в России XVIII в. (1625—1800 гг.), М., 1957, стр. 175—189.

1740-х — начала 1750-х годов, 1771, 1780, 1790 гг. и др. В начале 90-х годов XVIII в. иркутский губернатор И. Якоби предлагал построить на Сахалине крепость [10].

На фоне русских исследований XVII—XVIII вв. попытки японцев, предпринятые в 80-х годах XVIII в., распространить свое влияние на север от своих островов выглядели хронологически запоздалыми, а с политической точки зрения таившими явную опасность столкновения с Россией.

Только в XVII в. японцы на о-ве Хоккайдо проникли в центр расселения местного коренного населения — айнов, охотников и рыболовов,— и подавили их ожесточенное сопротивление. В XVIII в. остров не был хозяйственно освоен японцами и лишь на южном побережье существовали их селения. Формально Хоккайдо даже не был включен в состав японского государства, и, как указывает Д. Кин, только в 1799 г. на нем последовало установление правительственной администрации.

Д. Кин подробно описывает биографию и деятельность первых японских исследователей, проникших на север от Хоккайдо, и приводит, в частности, слова наиболее крупного из них — Могами Токуная, который с гордостью свидетельствовал, что был «первым японцем», ступившим на о-ва Итуруп и Уруп (1786 г.). Их путешествия расширяли кругозор географических представлений в Японии, но мало что могли внести нового по сравнению с результатами, достигнутыми к тому времени русскими. Проникновение японцев на южные Курильские острова (с 80-х годов XVIII в.) и Южный Сахалин (в 90-х годах XVIII в.), с одной стороны, вызывало восстания местного населения, возмущенного их действиями, а с другой — тревогу русской администрации в Сибири [11]. Россия вовсе не собиралась поступаться своими владениями на дальневосточных окраинах и в Тихом океане. При сложившихся обстоятельствах возникла настоятельная необходимость официального территориального разграничения и установления торговых связей с Японией, откуда, по мнению сибирской администрации и представителей промысловых компаний, на основе взаимовыгодного обмена можно было бы получать продукты питания. Однако объективная необходимость установления русско-японских отношений не была реализована. Русское правительство воспользовалось первым же удобным случаем для начала переговоров. Таким предлогом послужило возвращение на родину капитана Кодаю и его команды, занесенных штормом к русским берегам, о чем подробно рассказывает в своей книге Д. Кин. В сентябре 1791 г. Екатери-

[10] Б. П. Полевой, Первооткрыватели Сахалина, стр. 76—87.
[11] Э. Я. Файнберг, Русско-японские отношения в 1697—1875 гг., стр. 40—44.

на II подписала адресованный иркутскому губернатору И. А. Пилю указ «Об установлении торговых сношений с Японией», а ровно через год русское посольство во главе с А. Лаксманом отплыло из Охотска в Японию [12]. В самой Японии были сторонники заключения договора, в частности уже упоминавшийся Хонда. «Сёгунское правительство,— как пишет Э. Я. Файнберг в своей книге, посвященной истории русско-японских отношений,— приняло Лаксмана как официального представителя России, поручило специальным уполномоченным вручить ему ответ, допустило пребывание в Японии русских как гостей» [13] и разрешило прибытие в Нагасаки одного русского корабля. Русское посольство вызвало в Японии благожелательные отклики, а подаренные русские карты оказали положительное влияние на японскую картографию. Однако следующее русское посольство Н. П. Резанова, прибывшее в Японию в 1803 г., потерпело полную неудачу ввиду отказа сёгуната от соглашения [14]. Проникновение японцев на Курильские острова и Сахалин к началу XIX в. усилилось, что вызвало ответные меры русских. Н. П. Резанов предупредил представителей японского правительства, что земли, расположенные севернее Хоккайдо, рассматриваются Россией как ее территория. На южной оконечности Сахалина в 1806 г. был водружен русский флаг, а японцы выдворены из владений России [15]. Сёгунское правительство твердо решило продолжать политику самоизоляции, не отказываясь вместе с тем от притязаний на Курильские острова и Сахалин, хотя определенно знало об их принадлежности России. В этом отношении заслуживает большого внимания материал, приводимый Д. Кином о японском разведчике Мамия Риндзо, проникшем в 1808—1809 гг. на Сахалин и «определявшем» там границу между китайскими и японскими владениями, что можно было бы принять за забавный курьез, если бы в нем не отражалось такое серьезное обстоятельство, как нарушение чужого суверенитета. Д. Кин дает справедливую оценку личности Мамия, закончившего свою карьеру правительственным шпионом, но нет необходимости преувеличивать значение его «открытия» Татарского пролива даже собственно для

---

[12] Там же, стр. 52—67; В. А. Дивин, Русские мореплавания в Тихом океане в XVIII в., стр. 304—323.

[13] Э. Я. Файнберг, Русско-японские отношения в 1697—1875 гг., стр. 67.

[14] Как пишет Д. Кин, известие о смерти Екатерины II породило в Японии мысль о ослаблении России и упоминавшийся выше Хонда Тосиаки даже призывал к немедленным действиям по распространению власти Японии на севере.

[15] Об этом см.: Э. Я. Файнберг, Русско-японские отношения в 1697—1875 гг., стр. 69—106; Б. П. Полевой, Первооткрыватели Сахалина, стр. 96—99.

Японии, ибо материалы его путешествий были строго засекречены [16].

Установление дипломатических отношений между Россией и Японией произошло много позднее, после подписания в 1855 г. Симодского трактата, что уже выходит за границы книги Д. Кина. Разумеется, Д. Кин не ставил перед собой задачи освещать историю сношений России и Японии, но его книга содержит интересные сведения об истоках территориальных притязаний японских агрессивных кругов и их беспочвенности.

Доктор исторических наук *В. А. Александров*

---

[16] Б. П. Полевой, К истории открытия Татарского пролива, стр. 79.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Глава I. Голландцы в Японии 5
Глава II. Распространение «варварской науки» . 20
Глава III. Удивительные рассказы о Московии . 34
Предостережение авантюриста 34
Возвращение пропавших без вести в море . . 50
Глава IV. Призыв Запада 64
Живопись 66
Письменность 74
Книги 78
Философия и религия 86
Наука 93
Глава V. Экономические теории Хонда Тосиаки . 98
Экономика токугавской Японии 103
Предложения Хонда 113
Внешняя торговля 117
Население 120
Колонизация 126
Глава VI. Исследователи севера 135
Могами Токунай (1754—1836) 140
Мамия Риндзо (1775—1844) 151
Глава VII. Хирата Ацутанэ и западная наука . . 168
Что заимствовал Хирата из наук Запада . . . 170
Теологические заимствования Хирата 178
Хирата и европейцы 184
Список литературы 189
В. А. Александров. Послесловие 194

Дональд *Кин*

Японцы открывают Европу.
1720 — 1830

Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР

Редактор *Б. Е. Косолапов*
Младший редактор *Н. В. Беришвили*
Художник *А. П. Плахов*
Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Технический редактор *М. М. Фридкина*
Корректоры *К. Н. Драгунова*
и *М. К. Киселева*

Сдано в набор 22/III 1972 г.
Подписано к печати 20/VI 1972 г.
Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1
Печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 10,92
Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 30 000 экз.
Изд. № 2856. Зак. 390. Цена 62 коп.

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2

3-я типография издательства «Наука»
Москва К-45, Б. Кисельный пер., 4

Цена 62 коп.